

Виктор Франкл.

Психотерапия на практике.

Оглавление

Предисловие переводчика	2
Часть I. Общий экзистенциальный анализ.....	2
О смысле жизни.....	2
Сомнения в смысле бытия.....	2
Сверхсмысл.....	4
Принцип удовольствия и принцип гомеостаза.....	7
Субъективизм и релятивизм.....	10
Три категории ценностей.....	12
Эвтаназия.....	13
Самоубийство.....	14
Жизнь как задача.....	16
Принцип гомеостаза и экзистенциальная динамика.....	18
О смысле смерти.....	22
Сообщество и масса.....	24
Свобода и ответственность.....	26
О силе человеческого духа.....	28
Биологическая судьба.....	28
Психологическая судьба.....	30
Социальная судьба.....	32
О психологии концентрационного лагеря.....	32
Часть II. Психотерапия на практике.....	36
О смысле страдания.....	36
О смысле труда.....	40
Невроз безработицы.....	41
Невроз выходного дня.....	43
О смысле любви.....	44
Сексуальность, эротика и любовь.....	45
Неповторимость и единственность.....	46
О формах любви, связанных с категорией «иметь».....	49
Ценности и удовольствия.....	51
Сексуально-невротические нарушения.....	55
Психосексуальное созревание.....	56
Часть III. Психотерапия для повседневной жизни.....	58
Проблема души и тела с клинической точки зрения.....	58
Человек — только ли продукт наследственности и социальной среды?.....	60
Страх человека перед самим собой.....	62
Психическая гигиена для людей преклонного возраста.....	64
Психическая гигиена для людей среднего возраста.....	66
Сердечно-сосудистые заболевания.....	68
Наркоанализ и психохирургия.....	70
Врач и человеческие страдания.....	73
Шизофрения.....	76

Книга, всемирно известного психолога, психотерапевта, посвящена самым актуальным проблемам нашей жизни: смысл любви; страх человека перед самим собой; врач и человеческие страдания; невроз безработицы и т. д.

Предисловие переводчика.

Книга известного австрийского психиатра и психотерапевта В. Франкла является изложением основных принципов логотерапии и экзистенциального анализа, известных также как Третья венская школа психотерапии. Эту школу отличает гуманистический подход к душевным недугам, с которыми пациент обращается к психотерапевту. Видя в пациенте прежде всего духовно страдающего и ищущего человека, В. Франкл обращается к наиболее важным проблемам человеческого существования, которые стоят за симптомами тех или иных психических нарушений. В центр обсуждения автор ставит именно эти кардинальные проблемы человеческого бытия и среди них такие понятия, как смысл и ответственность. Рассматривая человека как телесно-душевно-духовное целое, автор полагает, что именно эти понятия определяют психическое здоровье человека и гармонию между составляющими человеческого естества. Особое внимание В. Франкл уделяет «пограничным» ситуациям и положениям, например, когда человек оказывается перед лицом неизлечимого заболевания или таким, как пребывание в концентрационном лагере — опыт, который пережил сам автор, — в которых человек получает возможность узнать смысл и ценности своего существования.

Эта книга — описание пути от классической психотерапии и метода психоанализа к логотерапии и экзистенциальному анализу. Франкл критически подходит ко многим положениям своего знаменитого соотечественника Фрейда и его последователей. В своей критике классического психоанализа Франкл говорит о необходимости демифологизации психотерапии, имея в виду представления о господстве бессознательных психических сил, имеющих биологическую природу, в сознании и поведении человека. Франкл противопоставляет психологическому детерминизму положение об изначальной свободе человеческого «Я» по отношению ко внешним и внутренним, психическим, социальным и биологическим обстоятельствам и ограничениям. Эта мысль, к которой автор не раз возвращается в своей книге, иллюстрируя ее множеством примеров из своей врачебной практики, лежит в основе разработанного им психотерапевтического метода — экзистенциального анализа.

Никита Паньков

Часть I. Общий экзистенциальный анализ.

О смысле жизни.

Классическая психотерапия, использующая метод психоанализа, стремится к осознанию душевного. Логотерапия же стремится к осознанию духовного. Причем в силу специфики своего метода — экзистенциального анализа — она направлена на то, чтобы довести до сознания человека ответственность как основу основ человеческого бытия.

Ответственность же в каждом конкретном случае означает ответственность перед смыслом. Таким образом, вопрос о смысле человеческой жизни следует поставить в центр обсуждения. Действительно, этот вопрос является одним из наиболее частых среди тех, с которыми душевнобольной человек, находящийся в духовном смятении, обращается к врачу. Не врач начинает разговор об этом, а пациент, который прямо-таки атакует врача этим вопросом.

Сомнения в смысле бытия.

Вопрос о смысле жизни — высказывается ли он прямо, или предполагается — является человечески понятным вопросом. Поэтому сам по себе факт того, что смысл жизни подвергается сомнению, не может быть выражением болезненного в человеке; это скорее выражение человеческого вообще, более того, самого человеческого в человеке. Ведь мы вполне можем

представить себе высокоразвитые живые организмы, такие, как пчелы или муравьи, которые по некоторым аспектам их социальной организации, свойственным им, и похожим на человеческие структуры формам даже превосходят человеческое общество; однако никогда и ни при каких обстоятельствах мы не можем представить себе, чтобы какой-нибудь живой организм мог задать вопрос о смысле собственного бытия и этим самым подвергнуть его сомнению. Только человек оставляет за собой право подвергать свое бытие сомнению, и только одному ему свойственно переживать все сомнения в его смысле.

Приведу конкретный пример. Одного пациента направили в мою клинику по поводу его отчаяния в смысле своего существования. В беседе с ним выяснилось, что речь идет об эндогенном депрессивном состоянии. Обнаружилось, что сомнения в смысле жизни одолевали его отнюдь не в периоды депрессивных фаз, как этого следовало бы ожидать; более того, в эти периоды он был в такой степени настроен ипохондрически, что ни о чем подобном не мог и думать. Эти раздумья одолевали его лишь в здоровом состоянии! Другими словами, духовная нужда, с одной стороны, и душевная болезнь, с другой, в этом конкретном случае находились во взаимоисключающих отношениях. Но если даже в этом конкретном случае отчаяние и сомнение можно лишь в минимальной степени объяснить депрессией, то весьма вероятно, что при известных обстоятельствах они могли бы стать причиной обратного — привести к ноогенной депрессии. Вопрос о смысле бытия во всей своей радикальности может прямо-таки потрясти человека до основания. Это часто случается в пубертатном периоде, когда перед духовно зреющим и ищущим молодым человеком открывается сущностная проблематика человеческого бытия. Когда однажды учитель естествознания в средней школе, объясняя на уроке в классе, что жизнь организма, в том числе и человека, является в конечном счете не чем иным, как окислительным процессом, т. е. процессом сгорания, один из его учеников поднялся со своего места и задал ему страстный вопрос: «Да, но какой вообще смысл имеет тогда жизнь?» Этот молодой человек считал, что человеческое существование — это нечто иное, чем свеча, которая стоит на столе и сгорает до конца. Ее существование (Хайдеггер сказал бы: «наличествование») можно назвать процессом сгорания — человеку же свойственна совершенно другая форма бытия. Человеческое бытие — это, прежде всего, сущностно обусловленное бытие, которое всякий раз помещено в историческое пространство, из системы координат которого его нельзя изъять. И эта система всегда определяется смыслом, пусть и неосознанным или даже вообще невыразимым. Суету в муравейнике можно с этой точки зрения назвать целенаправленной, но не осмысленной; с исчезновением категории смысла отпадает и то, что можно назвать историческим; муравьиное «государство» не имеет «истории».

Эрвин Штраус в своей книге «Событие и переживание» показал, что из жизненной реальности человека, из того, что Штраус называет «реальностью становления», нельзя изъять исторический фактор времени. Причем нельзя именно там, где человек (особенно при неврозе) «деформирует» эту реальность становления. Форму этой деформации представляет собой та попытка отхода от изначального способа человеческого бытия, которую Штраус характеризует как «презентативное существование». Под этим он понимает такое поведение, которое не опирается на прошлое, не направлено на будущее, а скорее соотносится только лишь с внеисторическим чистым настоящим. Подобное мы встречаем в бегстве невротика в своего рода эстетизм, в его бегстве в наслаждение искусством или в преувеличенное восхищение природой. Такой человек до известной степени забывает себя; можно даже сказать, забывает свои обязанности, живя в такие моменты вне всяких обязательств, которые вытекают из индивидуально-исторической осмысленности его бытия.

«Нормальный» (как в смысле усредненности, так и этической нормы) человек может и имеет право лишь в определенные периоды, и то лишь в определенной степени, иметь установку на «презентативное существование» — в те моменты жизни, когда он сознательно и на время отходит от обусловленной нормами ответственности и обязательств жизни (как, например, во время торжеств) и отдается упоению. В этом намеренно и искусственно созданном состоянии самозабвения человек время от времени сознательно освобождает себя от слишком большого груза своей сущностной ответственности. Западный человек, по крайней мере, постоянно находится под давлением ценностей, которые он должен творчески реализовывать. Это, однако, еще не означает, что нельзя быть опьяненным своим собственным творчеством, быть им оглушенным. За эту возможность хватается тот тип человека, которого Шелер охарактеризовал как индивидуума из-за средств реализации ценностей забывающего конечную цель (сами ценности). К этому типу относятся те люди, которые всю неделю напряженно работают, а в воскресенье — перед лицом пустоты и бессодержательности своей жизни, которые становятся им очевидны, — испытывают депрессию («невроз выходного дня») или страх пустоты и спасаются бегством в различные состояния опьянения.

Вопрос о смысле жизни возникает не только в период созревания, он может быть обусловлен и преподнесен судьбой — например, каким-нибудь потрясением или переживанием. И так же как в

юношеском возрасте сомнения по поводу смысла жизни не являются сами по себе проявлениями болезни, так и душевная нужда человека, мятущегося в поисках смысла жизни, вся его духовная борьба за него, не представляют собой ничего патологического. Да и вообще не следует забывать, что психотерапевты иногда имеют дело с душевно страдающими людьми, которые в клиническом смысле, собственно, не могут считаться больными. Ведь речь идет о страдании, обусловленном чисто человеческой проблематикой, которая стала предметом «психотерапии от духовного». Но и там, где фактически налицо клинические симптомы, помочь больному с помощью логотерапии найти ту особо прочную духовную опору, которая в меньшей степени необходима нормальному здоровому человеку, но безотлагательно требуется душевно не уверенному в себе — именно как компенсация его неуверенности. Ни в коем случае духовная проблематика человека не должна быть отброшена как «симптом», в любом случае она является «достижением» (если использовать эту антитезу Освальда Шварца); в одном случае — достижением, которое пациент уже совершил, в другом случае — достижением, прийти к которому мы должны ему помочь. Это относится в особенности к тем людям, которые потеряли душевное равновесие из-за чисто внешних причин. К людям этого рода можно было бы отнести, например, того, кто, потеряв особенно любимого близкого человека, служению которому он посвятил всю свою жизнь, с неуверенностью спрашивает себя, имеет ли теперь хоть какой-нибудь смысл его собственная жизнь. Он оказывается в данной ситуации без резервов; тех сил, которые одни лишь в состоянии дать жизнеутверждающее мировоззрение — причем необязательно, чтобы оно было четко сформулировано в его сознании — у такого человека не хватает, и это делает его неспособным в тяжелый час своей жизни «принять на себя» удар судьбы и из собственных резервов попытаться компенсировать утрату. Так возникает своего рода душевная декомпенсация.

То, какое центральное значение имеет жизнеутверждающее отношение к жизни и как глубоко оно уходит своими корнями в область биологии, можно установить, пожалуй, из следующего факта: когда было проведено большое статистическое исследование о вероятных причинах долголетия, то выяснилось, что у всех долгожителей наблюдалось веселое, т. е. жизнеутверждающее, восприятие жизни. И в области психологии отношение к жизни в мировоззренческом плане также имеет центральное значение — до такой степени, что, например, больным, которые пытались скрывать свое пессимистическое отношение к жизни, никогда не удавалось «десимულიровать» его полностью. При соответствующей методике психиатрического исследования можно без особых трудностей вскрыть завуалированное пресыщение жизнью. Если есть подозрение, что больной только десимულიрует намерение к самоубийству, то можно порекомендовать следующей метод проверки: сначала спросить больного, посещают ли его мысли о самоубийстве. Он будет отрицать их наличие в любом случае, причем если это всего лишь десимуляция, то не просто, а именно энергично отрицать. Тогда нужно задать ему следующий вопрос, который позволит сделать дифференциальный диагноз между действительным отсутствием *taedium vitae* (отвращения к жизни), с одной стороны, и его простой десимуляцией, с другой: спросить его — пусть даже этот вопрос будет звучать жестоко, — «почему» у него нет никаких мыслей о самоубийстве. Больной, свободный или уже излеченный от таких мыслей, ответит не раздумывая, что он же должен, например, подумать о своих близких или о своей работе и тому подобном. Десимულიрующего же больного этот вопрос приведет в замешательство. Он будет смущен, говоря об аргументах в пользу (симулируемого) жизнеутверждающего отношения к жизни. В том случае, когда речь идет об уже госпитализированном пациенте, он начнет требовать выпустить его из клиники и заверять, что нет никаких причин, чтобы его держали в клинике — так как у него нет никаких намерений к самоубийству. Таким образом, человек оказывается психологически не в состоянии привести даже для своего оправдания жизнеутверждающие аргументы, аргументы своей жизнеспособности, аргументы, которые говорили бы против навязчивых мыслей о самоубийстве: если бы они у него действительно были, если бы они всегда были наготове в его сознании, тогда бы им не владели мысли о самоубийстве и ему незачем было бы убеждать врача в их отсутствии.

Сверхсмысл.

Вопрос о смысле жизни можно понимать по-разному. Поэтому давайте исключим из его дальнейшего обсуждения ту тему, которая затрагивает сомнения в смысле всего происходящего, например, сомнения по поводу «цели и назначения» мира в целом или вопрос о смысле судьбы, которая нам выпадает. Возможные положительные ответы на все эти вопросы являются, собственно говоря, прерогативой религии. Для религиозного человека, который верит в провидение, в этом отношении вообще не существует никакой проблемы. Для других же постановка вопроса в данной форме должна быть подвержена познавательно-критической проверке. Ведь мы должны проверить, правомерно ли вообще ставить вопрос о смысле всего существующего, имеет ли вообще смысл сам этот вопрос. Собственно говоря, мы можем

спрашивать всякий раз лишь о смысле части происходящего, а не о «цели» происходящего в мире. Категория цели является поэтому в той степени трансцендентной, в какой цель лежит вне того, что ее «имеет». Поэтому мы могли бы охватить смысл мироздания в лучшем случае в форме так называемого пограничного понятия. Исходя из этого, можно было бы обозначить этот смысл как «сверхсмысл»; этим было бы выражено то, что смысл бытия непознаваем и что он превосходит то, что может быть познано. Это понятие было бы, следовательно, аналогом постулатов разума Канта; оно представляло бы необходимость мысли и в то же время — невозможность мысли, то есть антиномию, с которой может справиться только вера.

Еще Паскаль говорил, что ветка никогда не сможет понять смысл всего дерева. И новейшее биологическое учение об окружающей среде показало, что любое живое существо включено в окружающую среду, соответствующую его виду, не будучи в состоянии вырваться из нее. И пусть даже человеку принадлежит в этом отношении исключительное место, пусть он к тому же еще и чрезвычайно «открыт миру», пусть он даже «владеет этим миром» (Макс Шелер); но кто может сказать, что по ту сторону «этого» мира не существует сверхмир? Не напрашивается ли предположение, что человек в мире занимает лишь кажущееся положение завершающей ступени развития, что его положение является превосходящим лишь в рамках природы, только по отношению к животному; что в отношении «бытия в мире» (Хайдеггер) в конечном итоге можно сказать то же, что и об окружающих средах представителей животного мира. Столь же мало, сколь животное, находящееся в своей среде, способно когда-либо понять превосходящий его мир человека, столь же мало способен человек когда-либо охватить разумом сверхмир — за исключением, может быть, того состояния, когда он мысленно выходит за границы сознания в веру. Одомашненное животное не знает целей, ради которых использует его человек. Как же может знать человек, какую «конечную цель» имеет его жизнь и каким «сверхсмыслом» обладает мир как целое? И когда Н. Хартманн утверждает, что свобода и чувство ответственности человека находятся в противоречии со скрытой в нем, но стоящей выше его целесообразностью, то мы полагаем, что эта точка зрения неверна. Сам же Хартманн признает, что свобода человека является «свободой вопреки зависимости», поскольку также и духовная свобода строится над природной закономерностью на своем собственном, более высоком бытийном уровне и, несмотря на «зависимость» от более низкого уровня бытия, является по отношению к нему «автономной». С нашей точки зрения, аналогичное взаимоотношение между царством человеческой свободы и царством, возвышающимся над ним, можно было бы представить так, что человек, несмотря на то, что ему готовит провидение, свободен в своей воле — в то время как домашнее животное живет, следуя инстинкту, хотя оно и служит человеку, который как раз для своих целей использует инстинкты этого животного.

Предположим, я хочу сконструировать машину, функция которой должна состоять в том, чтобы упаковывать определенный товар определенным образом; совершенно ясно, что для решения этой конструктивной задачи необходимо обладать определенным интеллектом, о котором твердо известно лишь одно: что он во всяком случае должен быть в значительной степени выше, чем тот, который был бы необходим, если бы я упаковывал соответствующий товар сам! Нет ничего естественнее, чем перенести это сравнение на проблему инстинктов; и не должны ли мы будем тогда прийти к заключению, ссылаясь на так называемую мудрость инстинктов, что та мудрость, которая наделила то или иное животное определенным инстинктом, та мудрость, которая этот инстинкт, по-видимому, создала, та мудрость, которая, следовательно, стоит за инстинктами, — должна быть мудростью несравненно более высокого порядка, чем «мудрость» самих инстинктов, благодаря которым соответствующее животное так «мудро» реагирует. И может оказаться, что подлинная разница между человеком и животным заключается, в конце концов, не столько в том, что животное обладает инстинктами, а человек — интеллектом (ведь можно же, в особенности если мы посмотрим на лежащее в основе всякого человеческого разума, но само обоснованию разумом не поддающееся *a priori*, считать человеческий интеллект лишь инстинктом более высокого порядка); скорее, существенное различие между человеком и животным состоит в том, что интеллект человека так высок, что человек — в отличие от любого животного — обладает еще одной способностью: понять, что должна существовать мудрость, которая принципиально превосходит его собственную, а именно надчеловеческая мудрость, которая вселила в него разум и в животных инстинкты; высшая мудрость, которая создала как человеческую мудрость, так и мудрые инстинкты животных, и гармонично распределила их между ними.

Пожалуй, точнее и удачнее всех отношение человеческого мира к сверхмиру — отношение, которое мы можем представить себе по аналогии с отношением окружающей среды животного (В. Эскуль) к окружающей среде человека, — выразил Шлейх, говоря: «Бог сидел перед органом возможностей и импровизировал мир. Мы, простые смертные, из этих звуков слышим лишь человеческий голос. Если уж он прекрасен, то каким великолепным должно быть все мироздание!».

Если мы попытаемся определить отношение узкого животного мира к более обширному миру человека, а последнего — к всеохватывающему сверхмиру, то в качестве сравнения напрашивается правило золотого сечения. В соответствии с правилом золотого сечения меньшая часть относится к большей так же, как большая к целому. Возьмем в качестве примера обезьяну, которой были сделаны болезненные инъекции, чтобы получить сыворотку. Разве может когда-нибудь обезьяна понять, почему она должна страдать? Она, воспринимая мир из своей «окружающей среды», не в состоянии понять мотивов человека, который вовлекает ее в свои эксперименты, так как человеческий мир, мир ценностей и смысла, ей недоступен. Он не доходит до нее, не укладывается в ее измерения; но не следует ли нам предположить, что над человеческим миром, в свою очередь, возвышается превосходящий его и недоступный ему мир, чей сверхсмысл способен придать смысл его страданию?

Совершаемый в вере шаг в ультрагуманное измерение основан на любви. Сам по себе это известный факт. Менее известно, может быть, то, что ему предшествует ступень, которую мы могли бы назвать «инфрагуманной». Кому хоть раз не приходилось видеть, как ведет себя собака, которой ветеринар вынужден для ее же пользы причинить боль. Каким взглядом, полным доверия, смотрит она на своего хозяина! Не «зная», какой смысл имеет боль, животное «верит» своему хозяину именно потому, что оно его любит.

То, что вера в сверхсмысл — понимаемый или как пограничное понятие, или, с религиозной точки зрения, как Провидение — имеет исключительное психотерапевтическое и психогигиеническое значение, ясно само по себе. Эта вера — творческая. Истинная вера, питаемая внутренними силами, и сама делает человека сильнее. Для такой веры в конечном счете нет ничего бессмысленного. Такой вере ничто не может представляться напрасным — «ни одно деяние не остается незначительным» (Вильдганс). С этой точки зрения, ни одна великая мысль не может исчезнуть бесследно, если даже она никогда не станет известной, если даже она будет «взята с собой в могилу». Внутренняя история жизни человека — во всем своем драматизме и даже трагизме — никогда не бывает «напрасной», если даже она никогда не была никем замечена и если о ней не рассказывает ни один роман. «Роман», который прожил человек, всегда является несравненно большим творческим достижением, чем тот, который кто-либо когда-либо написал. Поэтому каждый из нас каким-то образом знает, что содержание жизни любого человека, ее осмысленность остаются где-то сохраненными, «припрятанными». Так время и преходящесть жизни не могут отнять у нее ни смысла, ни ценности. Прожитое бытие — это тоже вид бытия, и может быть, самый надежный. И все совершенное в течение жизни может рассматриваться с этой точки зрения как спасение возможного путем привнесения его в действительность. Пусть и прожитое останется навечно в целостности и безопасности, спасенное от всякого дальнейшего посягательства времени.

Разумеется, прошедшее время невосвратимо; но происшедшее в нем остается неприкосновенным и нерушимым.

Таким образом, текущее время предстает не только как разбойник, но и как доверенное лицо. И даже сохраняя в поле своего зрения преходящесть бытия, мировоззрение не должно, несмотря на это, быть пессимистическим. Если бы мы попытались выразить эту же мысль образно, то могли бы сказать: пессимист похож на человека, который, стоя перед настенным календарем и отрывая каждый день по одному листику, видит, что календарь становится все тоньше и тоньше; тогда как человек, который воспринимает жизнь в свете вышесказанного, похож на того, кто, сорвав листок календаря, бережно и осторожно кладет его рядом с другими, сорванными ранее, не забыв сделать на обратной стороне листка ежедневные записи; и вот он полон гордости и радости от мысли о том, что содержится в этих ежедневных записях — о том, что из его жизни в них было накрепко запечатлено. Ну и что из того, что этот человек замечает, что он стареет? Должен ли он с завистью смотреть на молодость других людей или с тоской вспоминать собственную? И зачем ему завидовать молодым — тем возможностям, которые еще есть у молодых, их будущему? «Большое спасибо, — подумает он, — вместо этого у меня есть реальности — в моем прошлом; не только реальности содеянного, но и реальность пережитой любви и еще реальность выстраданного. И последним я особенно горжусь — пусть даже в этом мне меньше всего завидуют...»

Все доброе, все прекрасное из прошлого остается прочно сохраненным в прошлом же. Но, с другой стороны, всякая вина и всякое зло еще «искупимы» в течение всей жизни (Шелер «Возрождение и покаяние»). Следовательно, дело обстоит не так, словно мы имеем готовый фильм — примерно так же, как теория относительности представляет себе мировой процесс как совокупность четырехмерных «мировых линий», — уже готовый фильм, который лишь разворачивается кадр за кадром; нет, речь идет о другом: фильм этого мира еще снимается. А это означает не что другое, как то, что прошлое, к счастью, прочно сохранено и надежно укрыто, однако будущее остается открытым, то есть предоставлено ответственности человека.

Что же такое ответственность? Ответственность — это то, к чему «привлекают», и то, от чего «уходят». Этим самым мудрость языка уже намекает на то, что в человеке есть нечто вроде противодействующих сил, которые пытаются удержать его от того, чтобы взять на себя присущую ему ответственность. И действительно, в понятии ответственности есть что-то бездонное. И чем дальше и глубже мы размышляем о ней, тем больше мы это понимаем — до тех пор, пока нас не охватит своего рода головокружение; как только мы углубляемся в сущность человеческой ответственности, нас охватывает ужас; есть что-то ужасающее в ответственности человека, но одновременно и что-то великолепное! Ужасно знать, что каждое мгновение я несу ответственность за ближнего, что каждое решение, самое малое и самое большое, является решением «навечно», что я в каждый миг могу реализовать или потерять возможность — возможность именно этого мгновения. Конечно, каждое мгновение таит в себе тысячи возможностей, я же могу выбрать одну-единственную, чтобы ее реализовать. Все же другие я тем самым приговариваю к небытию — и это тоже «навечно»! Великолепно же — знать, что будущее, мое собственное и вместе с ним будущее событий и людей вокруг меня, как-то, пусть и в незначительной степени, зависит от моего решения в каждый момент. То, что я благодаря этим решениям реализую, что я «привнесу в мир», то я и спасу для действительности и сохранию от забвения.

Принцип удовольствия и принцип гомеостаза.

В предыдущей главе мы рассмотрели вопрос о смысле постольку, поскольку он (вопрос) касается смысла мироздания; теперь давайте возвратимся к этому вопросу в том виде, как он трактуется больными, которые его задают: к вопросу о смысле их отдельной, личной жизни. При этом нам придется заняться сначала обсуждением того, какой поворот некоторые пациенты пытаются дать обсуждению этого вопроса, — поворот, который неизбежно должен вылиться в этический нигилизм. В этих дискуссиях они просто утверждают, что весь смысл жизни заключается лишь в удовольствии; при этом они ссылаются в своей аргументации на ошибочный факт, что вся человеческая деятельность диктуется в конечном счете стремлением к счастью, что все душевные процессы определяются исключительно принципом удовольствия. Эту теорию о доминирующем положении принципа удовольствия во всей душевной жизни выдвигает, как известно, и психоанализ. Принцип реальности не противоречит, собственно, принципу удовольствия, а является лишь простым расширением принципа удовольствия, находясь у него на службе как его простая «модификация», «которая по существу в качестве цели также имеет получение удовольствия». По нашему убеждению, принцип удовольствия является психологическим артефактом. В действительности удовольствие — не цель наших устремлений, а следствие их реализации. На этот факт указал еще Кант. А в отношении эвдемонизма Шелер сказал, что не удовольствие предшествует действию как его цель, а, напротив, действие «несет на своей спине» удовольствие. Вероятно, существуют особые состояния или обстоятельства, при которых удовольствие действительно может представлять собой цель волевого акта. Помимо этих особых случаев теория принципа удовольствия не учитывает существенно целенаправленный характер всей психической активности. В целом же человек хочет не удовольствия, а именно того, что он хочет. Предметами человеческого хотения могут быть разные вещи, в то время как удовольствие остается всегда одним и тем же — как в случае ценностно-ориентированного поведения, так и в противоположном случае. Отсюда можно заключить, что признание принципа удовольствия должно было бы привести к нивелированию всех возможных целевых установок человека. С этой точки зрения, совершенно безразлично, неважно, что именно делает человек. Пожертвования средств на благотворительные цели тогда служат лишь устранению чувства неудовольствия, так же как и расходование этих денег на гастрономические наслаждения. В действительности, осмысленность сострадательного порыва предшествует его устранению с помощью соответствующего действия, которое, якобы, имеет лишь негативный смысл устранения неудовольствия; ведь можно себе представить, что, будучи свидетелем несчастного случая, который у одного человека вызывает сострадание, другой человек будет испытывать злорадство, радоваться несчастью, которое он видит, и даже испытывать от этого удовольствие. В действительности же удовольствие или неудовольствие мало что определяют в жизни. Для зрителя в театре ведь не так уж важно, смотрит ли он трагедию или комедию; для него важнее содержание представления. И, конечно, никто не станет утверждать, что определенное чувство неудовольствия, которое может быть вызвано в душах зрителей при переживании происходящей на сцене трагедии, является целью их посещения театра; тогда всех театралов можно было бы рассматривать как скрытых мазохистов. Мы можем окончательно опровергнуть утверждение, что удовольствие является конечной целью всех — а не только конечным итогом отдельных — устремлений таким образом, что мы перевернем это утверждение. Если бы, например, Наполеон действительно проводил свои сражения лишь затем, чтобы доставить себе чувство удовольствия от их победоносного исхода (то же самое чувство удовольствия, которое какой-нибудь простой солдат доставляет себе более простым способом — например, едой, алкоголем и проститутками),

тогда «последняя цель» последних наполеоновских сражений, «конечная цель» наполеоновских поражений, должна была бы заключаться, напротив, в чувстве неудовольствия, которое следовало за поражениями так же, как чувство удовольствия следовало за победами.

Если бы мы действительно видели в одном лишь удовольствии весь смысл жизни, тогда жизнь должна была бы казаться, в конце концов, бессмысленной. Если бы удовольствие действительно составляло смысл жизни, тогда жизнь не имела бы, собственно, никакого смысла. Так что же такое, наконец, удовольствие? Состояние. Материалист сказал бы: удовольствие — это не что иное, как некий процесс в извилинах головного мозга. И ради достижения этого процесса стоит жить, мучаться, страдать? Давайте представим себе, что приговоренный к смерти за несколько часов до своей казни должен выбрать блюдо для последней трапезы. Он мог бы в этом случае спросить себя: есть ли вообще какой-нибудь смысл наслаждаться гастрономическими радостями перед лицом смерти? Не все ли ему равно, если спустя два часа после того, как он еще раз успел вызвать в извилинах головного мозга тот самый процесс, который называют удовольствием, его жизнь оборвется? Но, как известно, все живое ожидает смерть, и всякое желание любого человека было бы, следовательно, одинаково бессмысленным. Такое неутешительное мировоззрение логически должно уже в самом расцвете жизни привести к сомнению в ее смысле; оно могло бы с полным правом предвосхитить и обобщить вывод, к которому пришел один пациент, который был помещен в клинику после попытки самоубийства и рассказал о следующем пережитом им случае: с целью попытки самоубийства он хотел поехать в отдаленный район города, но не мог найти подходящего маршрута трамвая. Тогда он решил взять такси. «Но потом я подумал, — рассказывает он, — не лучше ли сэкономить пару шиллингов; тут же я непроизвольно засмеялся — тому, что перед самой смертью я хотел немного сэкономить».

Кого сама жизнь еще недостаточно научила тому, что мы существуем на свете менее всего «для удовольствия», того можно отослать к статистическим данным, полученным в ходе экспериментов русского психолога, который показал, что нормальный человек в среднем в течение дня испытывает несравненно больше эмоций неудовольствия, чем удовольствия. Сколь неудовлетворителен принцип удовольствия не только в мировоззренческом плане, т. е. на практике, но и в теории, видно из следующего примера, взятого из повседневной жизни. Если мы спросим какого-нибудь человека, почему он не делает чего-либо, что нам кажется целесообразным, и он, указывая на «причину», ответит: «У меня нет к этому желания», то этот ответ покажется нам неубедительным. Этот ответ потому и не является собственно ответом, что как раз удовольствие или неудовольствие мы никогда не считаем достаточно веским аргументом или контраргументом в пользу или против целесообразности действия.

Несостоятельность принципа удовольствия в качестве максимы сохранялась бы и тогда, если бы он действительно происходил, как об этом пишет Зигмунд Фрейд в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия», из общей тенденции органического к возвращению к покою неорганического. Этим утверждением Фрейд пытался доказать родственность всякого стремления к удовольствию с тем, что он называет стремлением к смерти. На мой взгляд, все психологические и биологические пратенденции можно редуцировать еще дальше, может быть, до универсального принципа выравнивания, который работает на выравнивание всякого напряжения во всех областях бытия. Нечто подобное говорит нам и физика в своем учении об энтропии как об ожидаемом конечном состоянии космоса. Исходя из этого, «тепловой смерти» в качестве психологического коррелята можно было бы противопоставить нирвану; выравнивание любого душевного напряжения путем освобождения от всякого чувства неудовольствия можно было бы тогда рассматривать как микрокосмический эквивалент макрокосмической энтропии, рассматривать нирвану как энтропию, увиденную изнутри. Однако сам принцип выравнивания являет собой антитезу «принципу индивидуации», который стремится сохранить все бытие как индивидуализированное бытие. Уже из наличия такого противоположного принципа вытекает, что с постулированием любого, пусть даже универсального, принципа, с констатацией каких-либо космических тенденций вообще, с этической точки зрения еще совсем ничего не выяснено. Ведь все объективно происходящее для субъекта ни в коей мере не обязательно. Кто говорит, что мы должны, так сказать, идентифицировать себя со всеми этими принципами или тенденциями? Проблема только начинается с вопроса, должны ли мы подчиняться таким тенденциям — там, где мы можем обнаружить их в нашем собственном душевном мире. Можно было бы также обоснованно предположить, что наша собственная задача состоит как раз в том, чтобы противостоять господству подобных как внешних, так и внутренних давлений. Вероятно, все мы, в силу нашего одностороннего естественно-научного образования, питаем слишком большое, преувеличенное уважение к результатам точных естественно-научных исследований, к физической картине мира. Должны ли мы действительно бояться тепловой смерти или «гибели мира» постольку, поскольку окончательная катастрофа космических размеров могла бы сделать бессмысленными наши усилия и усилия последующих поколений? Не учит ли нас внутренний опыт

теоретически непредвзятых простых житейских переживаний тому, что естественная радость при виде прекрасного вечернего заката для нас реальнее, чем некий астрономический расчет предполагаемого момента времени, когда Земля должна упасть на Солнце? Может ли нам быть дано что-либо непосредственнее, чем наш собственный опыт, саморазумение нашего человеко-бытия как бытия-ответственности? «Самое верное — это совесть», сказал кто-то однажды, и никакая теория о физиологической «сущности» определенных переживаний, и никакое утверждение, что радость — это совершенно определенно организованный танец молекул, атомов или электронов нервных клеток большого мозга никогда не были столь же убедительны, как уверенность человека, который переживает высшее наслаждение искусством или счастье любви, в том, что его жизнь полна смысла.

Радость может сделать жизнь содержательной только тогда, когда она сама имеет смысл. Ее узкий смысл не может, однако, заключаться в ней самой. На самом деле он лежит вне ее. Радость каждый раз направлена на предмет. Шелер показал, что радость — целенаправленное чувство, в противоположность простому удовольствию, которое он причисляет к ненаправленным чувствам, к чувствам, «соответствующим определенному состоянию», к «чувствам-состояниям». Шелер указывает при этом на тот факт, что это различие находит свое выражение уже в повседневном языковом употреблении: удовольствие испытывают по поводу чего-то, а радуются чему-то. Мы помним также понятие «презентативного существования», введенное Эрвином Штраусом. При таком образе жизни человек закосневает в состоянии удовольствия (например, в состоянии опьянения), не выходя из него в царство предметной реальности — а здесь это означало бы: царство ценностей; лишь эмоциональная интенция ценностей может доставить человеку «истинную радость». Теперь мы понимаем, почему радость никогда не может быть самоцелью: она сама, как таковая, не может быть интендирована. Она является «действительностью свершения» (Рейер) и реализуема лишь в совершении ценностно-познавательных актов, следовательно, в совершении интенциональных актов, направленных на «схватывание» ценностей. Как прекрасно выразил это Кьеркегор, когда сказал, что дверь к счастью открывается на себя! Кто пытается нажать на нее, перед тем она закрывается. Как раз тот, кто судорожно пытается стать счастливым, уже этим самым преграждает себе дорогу к счастью. Так всякое стремление к счастью как к «последней цели» в человеческой жизни предстает как нечто, уже само по себе невозможное.

Ценность по отношению к акту, который она интендирует, необходимо трансцендентна. Она трансцендирует ценностно-познавательный акт, который направлен на нее, аналогично предмету акта познания, который, конечно же, тоже лежит вне этого акта. Феноменология показала, что вместе с предметом в интенциональном акте всякий раз уже дан его трансцендентный характер. Если я вижу светящуюся лампу, то одновременно мне дано, что она находится здесь, даже если я закрою глаза или повернусь к ней спиной. «Видеть» означает всегда: видеть что-либо не только глазами. Если же кто-нибудь захотел бы настаивать на утверждении, что он, собственно говоря, видит не вещи во внешнем мире, а скорее лишь образы на сетчатке своих глаз (что, конечно же, абсолютно неверно), тогда это ложная посылка соответствовала бы главной ошибке маховского позитивизма, который методически исходит из данных чувств. Действительно, установка на чувства как таковые является совершенно определенной, лишь вторичной («производной»), а именно — отражающей установкой, следовательно, установкой, которая в высшей степени годится для научно-психологического метода познания, но ни в коем случае, однако, не подходит для простого естественного метода. Теория познания изначально не имеет намерения или задачи быть теорией психологического познания, скорее она имеет намерение и задачу быть просто теорией познания. Мы можем пойти еще дальше: даже тот человек ошибался бы, который утверждал бы, что сквозь очки он видит только стекла очков, а не сами вещи. Конечно, можно настроиться на загрязненность, на пылинки или пятнышки, которые могут быть на поверхности линз; однако при этом никогда не следует забывать, что тем самым такая установка является каждый раз установкой на погрешности стекол очков — так же как и познавательно-критическая установка является установкой на источники ошибок познания, самого по себе верного познания! — следовательно, установкой на источники ошибок познания, факультативная верность которого, именно с предположением возможных источников ошибок, уже всегда предпослана!

В познании предмета как реального уже заложено то, что я признаю его реальность независимо от того, познаю ли его я или кто-нибудь другой когда-либо. То же самое относится и к предметам ценностного познания. Это можно при необходимости проиллюстрировать с помощью следующего примера. Представим себе, что мужчина замечает, что эротическая привлекательность его партнерши «дана» ему лишь на то время, пока он находится в определенном состоянии, а именно — в состоянии сексуального напряжения, а с угасанием полового возбуждения он замечает, что все ее эстетические достоинства каким-то образом исчезают. Из этого он делает вывод, что они вовсе не реальны, а являются результатом его ослепления в момент возбуждения, что,

следовательно, они представляют собой не нечто объективное, а, скорее всего, нечто такое, что относится к сиюминутному состоянию его организма и коренится в субъективности его инстинктов. Этот вывод неверен. Возможно, что определенное субъективное состояние было тем условием, которое делало определенные ценности вообще доступными восприятию; вероятно, определенное состояние субъекта было необходимым медиумом или органом восприятия ценностей. Это, однако, не исключает объективности ценностей, а, напротив, является их предпосылкой. Эстетические, как и этические ценности, следовательно, требуют, как и предметы познания, адекватных актов для их восприятия; однако в этих актах схватывается одновременно трансцендентный характер всех этих предметов по отношению к направленным на них актам, а вместе с тем и их объективность. Ничего не меняет здесь и уже упомянутый выше факт, что наша шкала ценностей, так же как и наша картина мира, позволяет видеть нам в каждый данный момент времени определенный участок мира, его кусочек, что мы, следовательно, привязаны к перспективе. Возможно, что дело вообще обстоит так, что все долженствование дается человеку каждый раз в его конкретности, в необходимости того, что он «должен» сделать «здесь и сейчас». Ценности раскрываются в требованиях дня и личных задачах; стоящие за этими задачами ценности могут быть, по-видимому, интендированы лишь через эти задачи. Возможно, не исключено, что та всеобщность, которой будто бы открыто все конкретное долженствование, отдельному человеку, связанному с перспективой конкретного, вообще никогда не бывает видна.

Всякая человеческая личность представляет собой нечто уникальное, и каждая из ее жизненных ситуаций неповторима. Эти уникальность и неповторимость проявляются и в каждой конкретной задаче человека. Каждый человек может в каждый данный момент иметь только одну-единственную задачу; но именно это своеобразие составляет абсолютность этой задачи. Следовательно, хотя мир и рассматривается в перспективе, но каждому участку его соответствует лишь одна верная перспектива. Таким образом, существует абсолютная верность не вопреки, а как раз благодаря перспективной относительности.

Субъективизм и релятивизм.

Позволю себе высказать еще одно соображение в отношении объективности смысла; она не исключает его субъективности: смысл субъективен постольку, поскольку не существует одного смысла для всех; смысл, о котором в каждом случае идет речь, не может быть лишь отражением моего бытия. Смысл не только субъективен, но и относителен, ибо определяется ситуацией, в которую вовлечена данная личность, каждый раз как единственной в своем роде и неповторимой. Личность должна понять смысл ситуации, принять ее и воспользоваться ею, т. е. реализовать ее. Следовательно, смысл, по причине своей соотнесенности с ситуацией, также и сам единственен и неповторим; единственность «того, что необходимо», составляет его транссубъективность, и это означает, что смысл дается не нами, а является скорее данностью, пусть даже восприятие и реализация ситуации в очень сильной степени подчинены субъективности человеческого знания и совести. Возможная ошибочность человеческого знания и совести не прерывает транссубъективности человеческого бытия, «улавливаемого» человеческим знанием, и долженствования, «улавливаемого» человеческой совестью. Кто убежден в транссубъективности смысла, тот убежден и в том, что лишь ошибающаяся совесть может выступать защитницей таких вещей, как убийство или самоубийство. Это убеждение дает врачу право взять в исключительных случаях на свою совесть ответственность и действовать, исходя из своего ценностного мировоззрения; но даже и тогда он знает о способности своей собственной совести и совести пациента ошибаться.

Совесть относится к специфически человеческим феноменам. Ее можно было бы определить как интуитивную способность почувствовать единственный и неповторимый смысл, скрытый в каждой ситуации. Другими словами совесть — это смысловой орган.

Но совесть не только человеческа, но и всеобъемлюще человеческа, она — неотъемлемый атрибут самого понятия «человек». Совесть может ввести человека и в заблуждение. Более того, до последнего вздоха человек не знает, реализовал ли он свой смысл жизни или нет. Но со времен Петера Вуста «неизвестность и риск» связаны между собой и — пусть даже совесть и оставляет человека в «неизвестности» в отношении вопроса, нашел ли он вообще смысл своей жизни, — такая «неизвестность» не лишает нас «риска» повиноваться своей совести или прислушиваться к ее голосу.

Со всякой «неизвестностью» связан, однако, не только этот «риск», но и смирение. То, что мы даже на смертном одре не будем знать, не впала ли все же наша совесть в заблуждение, означает уже, что правой могла быть не наша совесть, а совесть другого человека. Смирение означает, следовательно, терпимость, но терпимость не есть индифферентность, так как уважать веру другого еще не означает идентифицировать себя с другой верой.

Никто не отрицает, что человек может иногда не понимать смысла и должен его как-то толковать. Это еще далеко не означает, что такое толкование происходит произвольно.

Обладает ли человек какой-либо свободой толкования, несет ли он ответственность за верное толкование? Ведь на каждый вопрос имеется лишь один ответ, а именно правильный, для всякой проблемы существует лишь одно решение, а именно верное, и в каждой жизни, в каждой жизненной ситуации есть лишь один смысл, а именно подлинный. В тесте с таблицей Роршаха субъект сам дает смысл этой таблице — благодаря субъективности этой «дачи смысла» субъект (проективного) теста сам «разоблачает» себя; но в жизни речь идет не о «даче смысла», а о нахождении смысла (мы говорим «нахождении», а не «изобретении», так как смысл жизни не может быть изобретен, а должен быть открыт). Приведенный ниже эпизод позволит проиллюстрировать то, что, несмотря на всю субъективность, которая присуща любому толкованию, интендированному толкованием смыслу присущ все же хотя бы минимум транссубъективности. Однажды в США во время дискуссии после одного из моих докладов мне прислали записку с вопросом, который звучал так: «Как в Вашей теории определяется 600?». Руководитель дискуссии, прочитав этот вопрос, отложил в сторону записку, обратившись ко мне со словами: «Бессмыслица... как определяется в Вашей теории 600?». Я взял записку в руки, пробежал ее глазами и выяснил, что руководитель дискуссии — замечу между прочим, по профессии — теолог, ошибся; так как вопрос был написан крупными буквами, то в английском оригинале слово «GOD» (Бог) можно было лишь с большим трудом отличить от «600». Из-за этой двусмысленности возник непредвиденный проективный тест, результаты которого для теолога и для меня самого как психиатра оказались весьма неожиданными. Во всяком случае, я не упустил возможности во время чтения лекций в университете Вены предложить студентам из США оригинальный английский текст; выяснилось, что девять студентов увидели число «600», а девять прочли «GOD», четверо же колебались между этими двумя толкованиями. Очевидно, что эти толкования не были равноценными; от участников теста требовалось выбрать только одно из них: тот (кто задавал вопрос, имел в виду лишь слово «Бог»), и поняли вопрос только те, кто прочел это слово, а не заменил его числом. И пусть даже человек в высшей степени зависит от своей совести в том, что касается смысла какой-то конкретной ситуации, и пусть он к тому же до последнего дыхания пребывает в неизвестности в отношении того, ошибается ли его совесть в той или иной конкретной ситуации (как это вообще свойственно человеку), или нет, он должен взять на себя риск такой ошибки и принять свое человеческое несовершенство и конечность своего бытия. Как говорит Гордон Оллпорт: «Можно быть наполовину уверенным и то же время чистосердечным».

Человеческая свобода конечна, и каждый человек далек от всемогущества. Так же конечна человеческая ответственность, именно потому, что человек должен принимать решения, сообразуясь лишь с «велениями разума и совести».

Смысл того, что совершает совесть всегда, когда бывает найден уникальный смысл той или иной ситуации или когда универсальной ценности в зависимости от обстоятельств говорится «да» или «нет», сводится, по-видимому, к «схватыванию» образа, т. е. к основе того, что мы называем волей к смыслу, которая, в свою очередь, характеризуется Джеймсом Крамбаухом и Леонардом Махوليном как собственно человеческая способность обнаруживать образы смысла не только в реальном, но и в возможном.

Вертхаймер говоря о ситуации, утверждал: «Ситуация "семь плюс семь равно..." — это система, имеющая пробел, который может быть заполнен различными способами. Лишь один из вариантов заполнения — четырнадцать — отвечает ситуации, подходит к пробелу, является тем, что структурно необходимо этой системе именно в этом месте и отвечает функции системы в целом. Этот вариант точно соответствует ситуации. Другие варианты заполнения пробела, например пятнадцать, не годятся. Они неверны. Здесь мы сталкиваемся с понятием востребованности ситуации. Требования такого рода являются объективными качествами».

В то время как смысл увязан с единственной и неповторимой ситуацией, имеются еще смыслы-универсалии, которые относятся к понятию «человек» как к таковому, и эти обширные смысловые возможности представляют собой то, что мы называем ценностями. Облегчение, которое человек получает от обретения более или менее общезначимых ценностей, моральных и этических принципов в том виде, как они выкристаллизовались в человеческом обществе в ходе его истории, дается ему ценой того, что он ввергается в конфликты. Собственно, речь идет здесь не о конфликтах совести, таких в действительности не существует: ведь то, что человеку говорит совесть — однозначно. Конфликтный характер присущ, а именно ценностям ибо, в противовес каждому конкретному единственному в своем роде и неповторимому смыслу ситуации, ценности являются абстрактными смысловыми универсалиями. Как таковые они имеют значение не только для уникальных личностей, которые поставлены в уникальные ситуации, но их значение распространяется на большие области повторяющихся, типических ситуаций и эти ареалы пересекают друг друга. Следовательно, имеются ситуации, в которых человек ставится перед

выбором между ценностями, перед выбором между противоречащими друг другу принципами. Если выбор будет сделан не произвольно, то он вновь будет предоставлен совести, которая одна ответственна за то, чтобы решения принимались свободно, но не произвольно, а ответственно. Конечно, сам человек свободен по отношению к совести, но эта свобода состоит единственно в выборе между двумя возможностями: прислушаться к голосу совести или сделать вид, что не слышишь его. Если совесть систематически подавляется, это приводит или к западному конформизму или к восточному тоталитаризму — в зависимости от того, предлагаются ли человеку обобщенные и преувеличенные обществом ценности или они ему навязываются.

Все это еще не означает, однако, что ценностям обязательно присущ конфликтный характер; возможные пересечения между областями, на которые распространяется значимость различных ценностей, могут быть лишь кажущимися, так как могут возникать путем проекции, т. е. путем потери измерения. Лишь тогда, когда мы исключаем иерархическую дифференциацию двух ценностей по степени их значимости, кажется, что они пересекаются и в области этих пересечений сталкиваются друг с другом — так же как два шара, спроецированные из трехмерного пространства в двумерное, лишь кажущимся образом пересекаются друг с другом.

Три категории ценностей.

Мы попытались развить необходимые контраргументы, направленные против принципиального скептицизма, столь часто высказываемого нашими больными, и этим лишить нигилизм его главных козырей. Однако крайне важно открыть богатство мира ценностей во всей его полноте. Ведь человек, не должен останавливаться на одной группе ценностей, а должен быть достаточно «гибким», чтобы перейти к другой, в том случае, если здесь и только здесь выявляется возможность реализации ценностей. Жизнь требует от человека в этом отношении исключительной гибкости в приспособлении к шансам, которые она ему дает.

Очень часто какой-нибудь из наших пациентов жалуется нам, что его жизнь не имеет никакого смысла, поскольку его деятельность лишена высокой ценности. Мы должны убедить его прежде всего в том, что в конечном счете безразлично, какое место человек занимает в профессиональной жизни, кем он работает. Гораздо важнее то, как он работает, соответствует ли он занимаемому месту. Важно, следовательно, не то, как велик радиус его деятельности; важно лишь одно — выполняет ли он круг своих обязанностей. Простой человек, который действительно выполнил конкретные задачи, поставленные перед ним профессией и семьей, несмотря на свою «маленькую» жизнь достиг большего и стоит выше, чем, например, какой-нибудь «большой» государственный муж, во власти которого одним росчерком пера решать судьбы миллионов людей, но который, однако, принимает недобросовестные решения.

Но кроме ценностей, которые могут быть реализованы путем творчества — назовем их ценностями творчества, — имеются и «ценности переживания», которые реализуются в восприятии мира, например, в увлечении красотами природы или искусством. Не следует недооценивать ту полноту смысла, которую они могут дать человеческой жизни. Если кто-нибудь сомневается в том, что актуальный смысл определенного мгновения человеческого существования может быть реализован в простом переживании, т. е. вне всякого действия и вне всякой активной ценностной реализации, то мы отсылаем его к следующему мысленному эксперименту. Пусть он представит себе, что человек, любящий музыку, сидит в концертном зале; в его ушах звучат прекрасные звуки любимой симфонии, и он испытывает тот трепет, который можно испытывать лишь при восприятии чистейшей красоты; пусть он представит себе, что этому человеку в этот момент зададут вопрос, имеет ли смысл его жизнь; спрашиваемый ответит, что благодаря уже одному этому прекрасному моменту его жизнь оправдана. Скорее всего, речь идет даже об одном мгновении — по величию одного этого мгновения можно измерить величие всей жизни: высота горного хребта тоже ведь измеряется по самой высокой его вершине. Так и в жизни — ее смысл решают ее вершинные моменты, и одно мгновение жизни может наполнить ее высочайшим смыслом. Давайте спросим о смысле жизни человека, поднимающегося в горы и наслаждающегося красотами цветущих Альп. Он так захвачен великолепиями их, что у него даже мурашки бегают по спине; вряд ли его жизнь когда-либо в будущем сможет стать *совершенно* бессмысленной после такого переживания.

Я считаю, что существует и еще одна, третья категория ценностей. Жизнь может оказаться осмысленной и тогда, когда в ней нет ни творческих порывов, ни богатых переживаний. Крайне важно в этом случае то, как человек относится к ограничению своих жизненных возможностей. Именно в его отношении к этому сужению своих возможностей открывается новое, подлинное царство ценностей, которые, безусловно, относятся к высочайшим. Так бедное, казалось бы, существование — в действительности же лишенное лишь ценностей творчества и переживаний — имеет последний, но самый великий шанс реализовать ценности. Эти ценности мы назовем

ценностями отношения. Здесь речь идет о том, как человек относится к своей судьбе, которую нельзя изменить.

Возможность реализовать такие ценности отношения появляется тогда, когда человек оказывается сурово обиженным судьбой и ему не остается ничего другого, как принять ее и нести свой крест. Речь в данном случае идет о мужестве в страдании, о достоинстве даже в падении и неудачах. Но как только мы вовлекли ценности отношения в область возможных ценностных категорий, обнаруживается, что человеческое существование, собственно, никогда не может стать действительно бессмысленным: жизнь человека сохраняет смысл «in ultimus» (до последнего) — т. е. до тех пор, пока он дышит; пока человек осознает себя, он несет ответственность за реализацию ценностей, даже если это лишь ценности отношения. Обязанность реализовывать ценности не оставляет человека до самого последнего мгновения его существования. И пусть возможности реализации ценностей творчества довольно ограничены, всегда есть возможность реализовать ценности отношения. Так подтверждается значимость мысли, которую мы приняли за исходную точку: быть человеком — значит ясно осознавать свое бытие и свою ответственность перед ним.

В жизни человеку каждый час предоставляется возможность обращения то к одной, то к другой группе ценностей.

Жизнь требует от нас либо реализации ценностей творчества, либо обращения к ценностям переживания. В первом случае мы можем обогатить мир своей деятельностью, а во втором обогатимся сами благодаря переживанию. В одном случае требование момента может быть реализовано путем деятельности, в другом — посредством нашего восприятия. Следовательно, и к радости человек может быть «обязан». Человека, который сидит в трамвае и становится свидетелем великолепного солнечного заката или чувствует запах цветущих акаций и не отдается переживанию этих природных явлений, а продолжает читать газету, можно считать в каком-то смысле «безответственным», игнорирующим требования момента.

Не могу не рассказать об одном больном, сумевшем в тяжелой ситуации реализовать все три приведенные выше ценностные категории. Речь идет о еще молодом человеке, который лежал в больнице по поводу неоперабельной, глубоко сидящей в спинном мозге злокачественной опухоли. Паралич лишил его возможности работать. Таким образом, он не имел больше возможности реализовывать свои творческие ценности. Но и в таком состоянии для него оставалось открытым царство ценностей переживания. Он вел интересные высокодуховные беседы с другими пациентами (стараясь одновременно занять их, внушить им мужество и дать утешение), он читал интересную литературу, слушал хорошую музыку — до того дня, когда он не смог больше выносить наушники и его парализованные руки не могли больше держать книгу. Тогда он дал своей жизни второе дыхание: если ранее он был вынужден перейти от реализации ценностей творчества к реализации ценностей переживания, то теперь он обратился к ценностям отношения. Он, несмотря на тяжелейший недуг, сумел стать советчиком и примером своему товарищу по палате! За день до своей смерти (которую он предвидел, зная, что дежурному врачу было поручено ночью ввести ему морфий) он сделал следующее. Когда этот врач появился у него с вечерним визитом, больной попросил сделать ему инъекцию — чтобы не будить его (врача) ночью.

Эвтаназия.

Давайте спросим себя, имеем ли мы право отнять у приговоренного к смерти больного шанс умереть «своей смертью»; шанс вплоть до последнего мгновения существования наполнить его смыслом, пусть даже в этом случае речь может идти только о том, чтобы реализовать ценности отношения, следовательно, о том, как «страдающий» пациент относится к своему страданию в его наивысший и конечный момент? Его переход через границу между жизнью и смертью относится исключительно к его *жизни* и придает ей осмысленную цельность. Проблема, с которой мы здесь сталкиваемся, — это проблема эвтаназии, но не только в смысле помощи умирающему, а в широком смысле милостивой смерти. Эвтаназия в узком смысле слова никогда не была для врача проблемой; медикаментозное смягчение тяжелейших смертных мук — это нечто само собой разумеющееся, момент их индикации является лишь вопросом такта и не требует, видимо, никакой дискуссии. Помимо такой помощи умирающему, неоднократно и во многих странах мира делались попытки юридически разрешить уничтожение так называемой недостойной жизни. По этому поводу можно сказать следующее: врач не должен брать на себя функции судьи и решать вопрос о лишении человека жизни. Он призван человеческим обществом для того, чтобы смягчать боль там, где он должен; лечить, пока может, и ухаживать за людьми, когда больше не может их вылечить. Если бы пациенты и их близкие не были убеждены, что врач относится к этому своему призванию серьезно и понимает его буквально, то доверие к нему пропало бы раз и навсегда.

Тогда больной никогда бы не знал, приближается ли к нему врач как помощник — или уже как палач.

Эта принципиальная позиция не допускает никаких исключений и там, где речь идет не о неизлечимых телесных болезнях, а о неизлечимых душевных недугах. Кто может предсказать, как долго считающийся неизлечимым психоз будет считаться неизлечимым? Прежде всего, не следует забывать, что диагноз какого-либо считающегося неизлечимым психоза может оказаться лишь субъективно неоспоримым, не будучи объективно подкрепленным в такой степени, что, основываясь на нем, можно было бы вынести приговор пациенту. Известен случай, когда мужчина в течение целых 5 лет неподвижно лежал в постели до, тех пор пока у него не атрофировалась мускулатура ног; кроме того, он получал искусственное питание. Если бы его показали медикам, то кто-нибудь из них, возможно, спросил бы, не лучше ли такого человека умертвить. Но будущее само дало ответ на этот вопрос. Однажды пациент попросил нормальный обед и захотел встать с постели. Он делал двигательные упражнения до тех пор, пока ослабевшие мускулы ног не начали снова ему служить. Спустя несколько недель его выписали, и вскоре он начал читать лекции о путешествиях, которые он совершил до своей болезни. В более узком кругу он рассказал психиатрам о своих переживаниях во время болезни — к огорчению некоторых санитаров, которые обращались с ним не очень хорошо. Можно представить себе ненужную аргументацию: психически больной человек не способен к осознанию своих собственных интересов, поэтому врачи должны помочь ему уйти из жизни, так как можно предположить, что больной лишил бы себя жизни, если бы его помешательство не мешало ему осознать свою ненужность. Мы придерживаемся совершенно другой точки зрения. Врач должен действовать в интересах воли к жизни и права больного на жизнь, а не лишать его этой воли и этого права. Поучителен в этом отношении случай, когда молодой врач заболел меланосаркомой и сам же поставил себе правильный диагноз. Его коллеги попытались разубедить его в этом, подсовывая ему анализы мочи здоровых пациентов с отрицательной реакцией, но однажды ночью он пробрался в лабораторию и сам провел там анализ. Когда болезнь стала прогрессировать, начали опасаться попытки самоубийства. Как же вел себя больной врач? Он стал все больше сомневаться в своем первоначальном — правильном — диагнозе; когда у него уже появились метастазы в печени, он начал диагностировать безобидные печеночные заболевания. Так он сознательно обманывал самого себя — из-за возрастающей именно в последней стадии болезни воли к жизни. И нам следует уважать эту волю к жизни и не осуждать ее в угоду любым теориям. Часто ссылаются также на другой аргумент. Указывают на то, что неизлечимые душевнобольные, в особенности же умственно неполноценные от рождения, представляют собой экономическую обузу для общества и являются бесполезными и непродуктивными для него. Как относиться к подобной аргументации? В действительности, даже идиоты, которые, по меньшей мере, могут толкать тележки, все же «продуктивнее», чем, например, совсем дряхлые старики, которые доживают свои дни в домах престарелых и убийство которых только по причине непродуктивности с отвращением отвергли бы и те, кто в других случаях придерживается критерия полезности для общества. Каждый должен признать, что человек, который окружен любовью родных и близких, является незаменимым предметом любви и благодаря этому его жизнь имеет смысл (пусть даже пассивный). Умственно отсталые дети именно из-за их беспомощности чаще всего пользуются особой любовью родителей и окружены особой заботой.

Долг врача — спасать там, где он может спасти, — не оставляет его даже тогда, когда он имеет дело с пациентом, который попытался лишить себя жизни и жизнь которого теперь висит на волоске. В этой ситуации врач сталкивается с проблемой, должен ли он предоставить такому пациенту свободу самому решать свою судьбу, имеет ли он право противостоять воле покусившегося на свою жизнь или должен уважать эту волю. Многие считают, что врач, который в случае имевшей место попытки самоубийства осуществляет терапевтическое вмешательство, пытается взять на себя роль судьбы, вместо того чтобы предоставить ей свободу. На это мы можем лишь возразить: если бы судьбе было угодно дать умереть уставшему от жизни человеку, у нее нашлись бы средства и пути, чтобы врачебное вмешательство пришло слишком поздно. А пока живущий успевает вовремя попасть в руки врача, врач должен действовать как целитель и ни в коем случае не играть роль судьи, решающего в соответствии со своим личным мировоззрением, жить или не жить больному.

Самоубийство.

Если выше мы лишь коснулись проблемы самоубийства и обсудили возможные точки зрения и подходы врача как человека постороннего, то теперь давайте посмотрим на эту проблему изнутри, попробуем понять ее с позиции уставшего от жизни человека и одновременно проанализировать его мотивы на внутреннюю оправданность добровольного ухода из жизни.

Обычно говорят о так называемом балансовом самоубийстве. Этим хотят сказать, что человек по причине общего баланса, который он подводит всей своей жизни, может пойти на самоубийство. То, что такой баланс, если он понимается как баланс удовольствия и неудовольствия, всегда будет отрицательным, было показано уже при обсуждении проблемы «удовольствие как смысл жизни». Поэтому здесь речь пойдет лишь о том, может ли когда-нибудь ценностный баланс жизни стать настолько отрицательным, что дальнейшая жизнь представляется человеку бессмысленной. Мы считаем спорным, в состоянии ли вообще человек с достаточной объективностью подвести баланс своей жизни. Это относится прежде всего к утверждению, что сложилась якобы безвыходная ситуация и единственным выходом является самоубийство. Пусть даже это утверждение произносится с большой убежденностью в своей правоте — эта убежденность остается субъективной. Если даже один-единственный из многих, кто пытался, считая свое положение безвыходным, покончить жизнь самоубийством, если бы этот единственный оказался неправ, если бы задним числом выяснилось, что мог быть найден другой выход, уже тогда любая попытка самоубийства была бы неоправданной, так как субъективная убежденность всех тех, кто решается на самоубийство, одинаково тверда и никто не может знать заранее, является ли именно его убежденность объективной и оправданной, или уже по прошествии нескольких часов обнаружится, что она была неверна — тех часов, в которые его уже не будет. Теоретически можно допустить, что самоубийство как сознательно принесенная жертва может быть в некоторых случаях оправданным. Но практически хорошо известно, что мотивы и таких самоубийств слишком часто коренятся в обиде и что в этих случаях в конце концов мог бы быть найден какой-нибудь другой выход из, казалось бы, безысходной ситуации. Таким образом, видимо, можно утверждать, что самоубийство никогда не может считаться оправданным. Даже и как искупление. Ибо оно делает невозможным — в смысле реализации ценностей отношения — духовный рост и созревание в результате собственного страдания и причиняет страдания другим людям. Следовательно, самоубийство усугубляет происшедшее несчастье или совершенную несправедливость, вместо того чтобы справиться с ними.

Обратимся теперь к тем случаям, где мотивы самоубийства объясняются болезненным душевным состоянием. Причем оставим открытым вопрос, могут ли быть вообще при достаточно точном психиатрическом исследовании выявлены попытки самоубийства без малейшей психопатологической основы. То, что для нас здесь особенно важно, это, скорее, следующее: установить, что мы во всех случаях обязаны доказать уставшему от жизни человеку бессмысленность самоубийства и безусловную оправданность жизни — с помощью имманентной критики и убедительной аргументации, т. е. средствами логотерапии. Такому человеку следовало бы прежде всего указать на то, что его усталость от жизни — чувство, а чувства никогда не могут быть аргументами. Того, что он ищет — решения проблемы, — ему таким способом не удастся достичь. Мы должны во что бы то ни стало довести до сознания человека, решившегося на самоубийство, что самоубийство не может разрешить никакую проблему. Мы должны показать ему, как похож он на шахматиста, который, получив тяжелую позицию, сметает с доски все фигуры. Этим он не решает шахматную проблему. Тем более в жизни ни одна проблема не решается путем того, что жизнь отбрасывают. И так же как тот шахматист не придерживается правил шахматной игры, точно так же и человек, который выбирает добровольную смерть, нарушает правила игры жизни. Эти правила не требуют ведь от нас, чтобы мы любой ценой побеждали, но требуют, чтобы мы никогда не прекращали борьбу.

Мы не можем устранить из жизни все причины несчастий, чтобы помешать всем решившимся на самоубийство осуществить их намерения. Мы не должны подыскивать всякому безнадежно влюбленному другую женщину и обеспечивать всякого нуждающегося заработком. Но нам необходимо убедить этих людей, что они могут не только продолжать жить без того, чего они по каким-то причинам не могут иметь, но и что они могут видеть определенный смысл своей жизни как раз в том, чтобы внутренне преодолеть свое несчастье, вырасти благодаря ему духовно, пойти наперекор своей судьбе, если она им в чем-то отказала. Однако мы сможем только тогда убедить наших больных в том, что их жизнь имеет смысл, если будем в состоянии помочь им найти необходимые цель и содержание жизни, другими словами: увидеть перед собой задачу. «Кто знает, почему ему следует жить, тот вынесет почти любое как», говорил Ницше. На самом деле, понимание жизненной задачи имеет исключительную психотерапевтическую и психогигиеническую ценность. Мы не устаем повторять, что нет ничего более важного для того, чтобы заставить человека преодолеть объективные трудности или субъективные тяготы, чем сознание того, что в его жизни есть задача. И более всего — тогда, когда эта задача поставлена самим человеком и представляет собой то, что могло бы называться миссией. Она делает ее носителя незаменимым и придает его жизни ценность уникальности. Приведенную выше мысль Ницше следует понимать таким образом, что «как» жизни, т. е. какие-либо неблагоприятные сопутствующие обстоятельства, отходит на задний план в тот момент и в такой степени, в какой на первое место выступает

«почему». Но не только это; из полученного таким образом понимания жизни как задачи логически следует, что жизнь, собственно, тем осмысленнее, чем она труднее.

Жизнь как задача.

Итак, если мы хотим помочь нашим больным в возможно большей степени активизировать их жизнь, если мы хотим перевести наших пациентов из состояния «patients» в состояние «agens», то мы должны не просто подвести их к пониманию их бытия как ответственности по отношению к возможностям ценностной реализации, но и показать им, что задача, за выполнение которой они ответственны, является специфической. Эта специфика задачи является двойной, так как задача меняется не только от человека к человеку, соответственно своеобразию каждой личности, но и от часа к часу, соответственно неповторимости каждой ситуации. Нужно лишь вспомнить о том, что Шелер называл «ситуационными ценностями» (и противопоставил их «вечным ценностям», которые имеют значение всегда и для всех). Эти ценности ждут того момента, когда пробьет их час, когда нужно использовать неповторимую возможность их реализовать; эта возможность будет упущена, и ситуационная ценность останется навсегда нереализованной. Итак, мы видим, что оба момента — неповторимость и своеобразие — являются основополагающими для осмысленности человеческого существования. Заслугой современной экзистенциальной философии является то, что она, вопреки неопределенному понятию жизни тогдашней философии жизни, охарактеризовала существование человека как существенно конкретное, как «всякий раз мое». И лишь в своем конкретном виде человеческая жизнь обрела обязательность. Не случайно поэтому экзистенциальная философия называется «апеллирующей». Разве трактовка человеческого существования как своеобразного и неповторимого не содержит призыва реализовать свои единственные и неповторимые возможности? Если мы хотим в духе экзистенциального анализа и с помощью логотерапии помочь пациенту прийти к наивысшей наполненности его жизни, нам нужно лишь доказать ему, что жизнь каждого человека имеет одну-единственную цель, к которой ведет неповторимый путь. На этом пути человек подобен летчику, ведомому штурманом в ночном туманном полете. Проложенный путь один лишь ведет пилота к избранной цели. Каждый человек во всех жизненных ситуациях имеет предначертанный ему единственный в своем роде путь, идя по которому, он может добиться реализации собственных возможностей. Если же пациент говорит, что он не знает смысла своей жизни, что единственные в своем роде возможности его существования от него скрыты, то на это можно только возразить, что его первая ближайшая задача как раз в том и состоит, чтобы найти путь к собственной задаче и пробиться к смыслу жизни в его единственности и неповторимости. А что касается его внутренних возможностей, т. е. вопроса, как он может распознать, на что направлена ответственность его конкретного бытия, то тут не остается ничего лучшего, чем придерживаться совета Гете: «Как можно узнать самого себя? Путем наблюдения — никогда, но лишь путем действия. Старайся выполнять свой долг, и ты сразу же узнаешь, кто ты. Но что же есть твой долг? Требование дня».

Найдутся, конечно, люди, которые хотя и признают характер жизни как неповторимого задания для реализации конкретных, неповторимых ситуационных ценностей, но считают *свою* личную ситуацию безвыходной. Таких людей мы должны прежде всего спросить: что значит безвыходная? Человек ведь не может предсказать свое будущее; он никогда не сможет этого сделать уже потому, что знание будущего стало бы немедленно влиять на его поведение, в зависимости от его установки — либо сопротивляющейся либо поддающейся этому влиянию; но этим самым он выстраивал бы будущее в любом случае таким образом, что первоначальное предсказание стало бы уже неверным. Коль скоро человек не может пророчествовать, он не может и судить, таит ли его будущее возможность реализации ценностей. Один негр, приговоренный к пожизненным принудительным работам, был посажен в Марселе на пароход, плывущий к Островам дьявола. В открытом море на пароходе разразился пожар (речь идет о затонувшем тогда «Левифане»). Осужденный, необычайно сильный мужчина, был освобожден от наручников и спас жизнь десяткам человек. Позднее он был за это помилован. Если бы этого человека еще на набережной в гавани Марселя спросили, может ли его дальнейшая жизнь, по его мнению, иметь какой-то смысл, — он, наверное, лишь покачал бы головой. Но ни один человек не может знать, следует ли ему еще чего-то ждать от жизни и какой великий час еще, может быть, предстоит ему.

Ни у кого нет при этом права ссылаться на свои собственные недостатки и, следовательно, недооценивать свои собственные возможности; и пусть такой человек впадает в сильное отчаяние в отношении себя самого, и пусть он в невероятных муках размышляет о себе и судит себя: уже одним только этим фактом он в какой-то мере оправдан. Самоприговор человека предполагает личностный идеал, личное представление о том, каким нужно быть. Такой человек, следовательно, открыл для себя ценности, поэтому он живет в мире ценностей; как только он оказывается в состоянии примерить на себя масштаб идеала, он уже не может быть больше вовсе лишенным ценности. Одним этим он уже достиг уровня, который его оправдывает; тем, что он смог

подняться над самим собой, он утвердил себя как гражданин духовного мира, ценности которого он носит в себе. «Если бы наши глаза не были ясными, они никогда не смогли бы разглядеть солнце...» То же самое можно сказать об обобщенном отчаянии, о сомнениях по поводу человечества как такового. «Человек по самой своей сути плох» — говорят нам. Но эта мировая скорбь не должна никого парализовать; если кто-то говорит, что «все люди в конечном счете законченные эгоисты» и что альтруизм — это тот же эгоизм, так как кажущийся альтруистом человек хочет лишь избавиться от чувства сострадания, — то мы уже знаем, что мы можем этому противопоставить: во-первых, устранение чувства сострадания является не целью, а следствием; во-вторых, его появление уже предполагает настоящий альтруизм. То, что мы сказали о смысле отдельной жизни, относится и к человечеству в целом, а именно, что решающими являются вершинные точки — в человеческой истории так же, как и в горных массивах. Уже благодаря примерам немногих жизней или даже тому или иному конкретному человеку, которого мы по-настоящему любим, человечество как целое может быть оправдано. И когда нам говорят, что вечные великие человеческие идеалы повсюду попираются и используются как средство для достижения политических, деловых, сексуальных целей или удовлетворения личного тщеславия, мы можем возразить: все это только свидетельствует о всеобщей обязательности и непреходящей силе этих идеалов, так как то обстоятельство, что какую-нибудь вещь нужно завернуть в моральную «обертку» для того, чтобы она была действенной, доказывает лишь то, что моральность как раз действительна, а это значит, может воздействовать на людей.

Итак, задача, которую человек должен исполнить в жизни, принципиально существует всегда и никогда не является невыполнимой. Что же касается экзистенциального анализа вообще, то его задача состоит в том, чтобы помочь человеку осознать свою ответственность за выполнение каждой своей задачи; чем в большей степени он осознает характер жизни как задачи, тем более осмысленной будет представляться ему его жизнь. В то время как человек, не осознающий своей ответственности, принимает жизнь как простую данность, экзистенциальный анализ учит видеть жизнь в ее заданности. Но здесь мы хотели бы заметить следующее: есть люди, которые делают еще один шаг вперед и видят жизнь в более далекой перспективе. Для них задача — это нечто транзитивное. Они осознают не только ту инстанцию, из которой исходит задача, но и ту инстанцию, которая ставит задачу. Они осознают задачу как поручение. Жизнь тогда получает ясную перспективу, когда становится явственным трансцендентный поручитель. Сказанным, с нашей точки зрения, была бы охарактеризована существенная черта *homo religiosus* как человека, для сознания и ответственности которого вместе с жизненным поручением дан и поручитель.

Бытие человека мы охарактеризовали как бытие ответственное. Это бытие-ответственность является каждый раз ответственностью за реализацию ценностей. Говоря об этих ценностях, мы уже сказали, что должны учитываться единственные в своем роде «ситуационные ценности» (Шелер). Шансы реализации ценностей приобретают таким образом конкретные очертания. Но они не только соотносятся с ситуацией, но и увязаны с личностью; они меняются от личности к личности так же, как и от часа к часу. Возможности, которые каждый человек имеет исключительно для себя, являются такими же специфичными, как и возможности, которые предлагает каждая историческая ситуация в ее неповторимости.

Общезначимая, обязательная для всех жизненная задача в экзистенциальном аспекте нам, собственно говоря, кажется невозможной. В такой постановке вопрос о задаче жизни, смысле жизни вообще бессмыслен. Он напоминает вопрос репортера, который берет интервью у чемпиона мира по шахматам: «А скажите, уважаемый маэстро, какой шахматный ход самый лучший?». На этот вопрос невозможно ответить в общем, он имеет смысл лишь в отношении конкретной позиции. Шахматный чемпион, если бы он вообще всерьез воспринял этот вопрос, должен был бы ответить: «Шахматист должен действовать так, чтобы в зависимости от того, что он может, и от того, что допускает противник, каждый раз пытаться сделать наиболее сильный ход». При этом следовало бы подчеркнуть две вещи: во-первых, «в зависимости от того, что он может», — этим, собственно, полагается, что следует принимать в расчет и внутреннюю ситуацию, т. е. то, что называют предрасположенностью; и во-вторых, следует принимать во внимание, что игрок всегда может лишь «попытаться» сделать в каждой конкретной игровой ситуации самый удачный, т. е. лучше всего отвечающий данному расположению фигур, ход. Если бы он заранее настроился на то, чтобы сделать «абсолютно хороший ход», то он должен был бы, мучимый сомнениями и самокритикой, по меньшей мере выйти за рамки предоставленного ему времени и отказаться от игры. Точно так же обстоит дело и с человеком, который поставлен перед вопросом о смысле жизни; он также может поставить этот вопрос — если этот вопрос вообще имеет смысл — лишь в отношении конкретной ситуации и своей конкретной личности; более того, было бы ошибочным, если бы он вбил себе в голову, что *должен* сделать абсолютно лучшее, вместо того чтобы просто *попытаться* это сделать. Конечно, он должен стремиться к лучшему, иначе у него

не вышло бы и хорошего; но одновременно он должен уметь и отказываться от более чем просто асимптотического достижения цели.

Подводя суммарный итог всему сказанному выше о смысле жизни, коснемся радикальной критики вопроса как такового. Вопрос о смысле жизни вообще лишен смысла, так как он поставлен неверно, если имеет в виду жизнь «вообще», а не конкретно «именно мое существование». Если мы начнем речь издалека, с осмысления мира, тогда нам придется дать вопросу о смысле жизни коперниковский поворот: жизнь сама есть то, что задает человеку вопросы. Ему не надо спрашивать; скорее, он сам — спрашиваемый, тот, кто отвечает перед жизнью, держит перед ней ответ. Ответы же, которые дает человек, могут быть лишь конкретными ответами на конкретные «жизненные вопросы». В ответственности жизни и осуществляется ответ на них, в самом существовании человек реализует ответы на поставленные его существованием вопросы.

Вероятно, было бы уместным указать здесь, что психология развития показывает, что «извлечение смысла» свойственно более высокой ступени развития, чем «дача смысла» (Шарлотта Бюлер). Таким образом то, что мы попытались выше логически развить — кажущийся парадоксальным примат ответа над вопросом, — полностью соответствует психологическому развитию. Он основывается на самоузнавании человека как каждый раз уже спрошенного. Тот же самый инстинкт, который, как мы видели, подводит человека к его самым сокровенным жизненным задачам, руководит им и при ответе на жизненные вопросы. Этот инстинкт — совесть. Совесть имеет свой голос и разговаривает с нами — это неопровержимый феноменальный факт. Но голос совести — это каждый раз ответ. Религиозный человек, с точки зрения психологии, оказывается тем, кто вместе со сказанным воспринимает и говорящего, т. е. является более «яснослышащим», чем человек нерелигиозный: в разговоре со своей совестью — в этом интимнейшем разговоре с самим собой, какой только бывает, — его партнером является Бог.

Принцип гомеостаза и экзистенциальная динамика.

В своей практике логотерапия идет на сопоставление экзистенции с духом. В своей теории она исходит из мотивации экзистенции через дух.

Предвижу возражение, что этим сопоставлением существования с духом, включением личности в мир смысла и ценностей к человеку предъявляются слишком высокие требования. Не говоря о том, что подобного сегодня следует опасаться меньше, чем когда-либо, подобные опасения неверны уже в своем зародыше, потому что они основаны на устаревшем еще со времен Бергаланффи принципе гомеостаза. В области нейрологии и психиатрии уже Курту Гольдштейну удалось доказать, что принцип «tension reduction» (снижения напряжения), на котором покоятся психоаналитические и психодинамические гипотезы, представляет собой исключительно патологический принцип; обычно для человека гораздо важнее выдерживать напряжение и стремиться к осуществлению ценностей, а не избегать их любой ценой.

Находиться в полярном поле напряжения между бытием и долженствованием, войти в мир смысла и ценностей, быть востребованным ими — вот что является существенным признаком человеческого бытия. Поскольку бегство от этих требований является признаком невротического существования, становится ясно, как энергично должна действовать психотерапия против этого типично невротического эскапизма, а не в угоду ему, пытаясь из преувеличенного страха нарушения гомеостаза удерживать больного от любого напряжения и стремясь избавить его от столкновения со смыслом и ценностями. Динамика, которая существует в полярном поле напряжения между бытием и долженствованием, в логотерапии, в противовес всей психодинамике, называется ноодинамикой. От первой она отличается в первую очередь тем, что в нее входит момент свободы: будучи раздираемым влечениями, я в то же время притягиваюсь ценностями, т. е. я могу сказать требованию той или иной ценности «да» или «нет», иными словами, я могу решить вопрос так или иначе. Момент свободного выбора действует не только в отношении кажущегося принуждения биологическими, психологическими или социологическими условиями, но и по отношению к ценностной возможности, которую надо реализовать.

Чем более снижено напряжение, которое исходит из ноодинамики, тем более угрожаем и подвергаем опасностям человек. Основываясь на результатах исследования Карла Роджерса, Оллпорт объясняет: «Между моим Я и идеальным Я, между действительным существованием и желаемым, всегда существует здоровый разрыв. С другой стороны, слишком высокая удовлетворенность означает патологию». Нормальная корреляция между реальным образом самого себя и идеальным, утверждает он, характеризуется коэффициентом +0,58. Американские авторы на основании статистических исследований пришли к выводу о том, что смысловая ориентация человека может быть расценена как мерило душевного здоровья. В США в психологии господствуют два направления: механистическое и, как реакция на него, гуманистическое. Что

касается первого, то оно держится на принципе гомеостаза, в то время как идеалом второго является самореализация (Гольдштейн, Хорни и Маслоу).

Гордон Оллпорт указывает на то, что обычное понимание мотивации как попытки сменить состояние напряжения гомеостазом не определяет сущности стремления как такового. Фрейд представил «душевный аппарат» как нечто, чье «намерение» состоит в том, чтобы «справиться со всеми подступающими к нему раздражениями и возбуждениями», а архетипы Юнга построены также на принципе гомеостаза: человек предстает в его теории как некто, чье стремление выливается в реализацию как раз архетипно сформированных возможностей; в основе этого стремления, однако, лежит единственное намерение — уйти от сильного воздействия или даже мести непржитых архетипов и избежать вызванных ими напряжений.

Шарлотта Бюлер с полным правом утверждает: «От самых ранних фрейдовских формулировок принципа удовольствия до последней современной версии принципа вывода напряжения и гомеостаза в качестве постоянной конечной цели всей жизненной активности понималось восстановление равновесия в индивидууме». Но уже сама Шарлотта Бюлер критикует фрейдовское толкование процессов приспособления, утверждая, что «в стремлении приспособляющегося к равновесию реальность воспринимается негативно», тогда как в действительности «творящий претворяет свой продукт и труд в позитивно осознанную реальность». Принцип реальности, со своей стороны, находится на службе у принципа удовольствия, поскольку он представляет собой лишь простую «модификацию» принципа удовольствия, «которая также имеет целью удовольствие». Если мы приглядимся внимательнее, то сможем констатировать, что принцип удовольствия также представляет собой лишь простую модификацию, поскольку он служит высшему принципу, а именно — принципу гомеостаза, т. е. тенденции поддерживать как можно более низкий уровень напряжения или восстанавливать его.

Так же как воля к удовольствию подчеркивалась психоанализом в форме принципа удовольствия, так и воля к власти выделялась индивидуальной психологией в форме так называемого стремления к значимости. В случае адлеровского стремления к значимости речь все же давно идет не о влекомости человека к чему-то, что, подобно агрессивности выдвинутой Фрейдом на передний план подавленной сексуальности, можно было бы не принимать в расчет, а о желании, исходящем из «центра акта» личности. В закрытой системе «душевного аппарата», над которым господствует принцип удовольствия, нет места для того, что мы назвали волей к смыслу, который организует и направляет человека в мире. Эта концепция не должна быть ложно понята в волюнтаристском смысле. То, что мы говорим о «воле к смыслу», а не о «влечении к смыслу», отнюдь не означает восхваления волюнтаризма; скорее на этом пути не должен быть выпущен из поля зрения факт прямой (в первую очередь) смысловой интенции — т. е. факт, что для человека от начала и до конца имеет значение смысл и не что другое, как смысл: если бы речь действительно шла о влечении, то человек реализовывал бы смысл лишь для того, чтобы избавиться от «жала» влечения и обрести равновесие. Однако тогда человек перестал бы действовать ради самого смысла и наша теория мотивации вышла бы опять на принцип гомеостаза.

В то время как европейская критика логотерапии исходит насмешливыми замечаниями, такими как «взывать к воле», американская психиатрия давно уже перешла к тому, чтобы столь сильно подвергнутую в наших краях злословью волю возвести в подобающий ей ранг. Ведущий экзистенциальный психолог Нью-Йорка, Ролло Мэй, утверждает, что психоанализ поощряет тенденцию пациента к пассивности и вводит в соблазн того, кто не хочет рассматривать себя как решающую силу и считает ответственным за свои трудности любого человека, но только не себя. Свои едкие замечания он продолжает следующим образом: «Экзистенциальный подход вновь ставит во главу угла решение и волю» и заканчивает их глубокомысленно словами псалма: «Тот самый камень, который строители отвергли, стал краеугольным». А Джеймс С. Крамбаух и Леонард Т. Махолик, директоры Центра Бредли, пишут в своей работе, вышедшей в «Journal of Existential Psychiatry», что результаты их экспериментов подтверждают гипотезу о существовании воли к смыслу.

Идея воли к смыслу не должна неверно толковаться как призыв к воле. Нельзя манипулировать верой, любовью, надеждой и фабриковать их. Никто не может ими командовать. Над ними не властна даже собственная воля. Я не могу хотеть ни верить, ни любить, ни надеяться, и, прежде всего, я не могу хотеть чего-нибудь хотеть. Поэтому бесполезно требовать от человека «хотеть смысла». Говорить о воле к смыслу — значит заставить сам смысл вспыхнуть и предоставить воле хотеть его.

Шарлотта Бюлер противопоставляет теории удовлетворения влечений теорию самореализации, делая такой вывод: «В настоящее время имеется в принципе два основных толкования главных тенденций жизни, крайне важных для психиатрии. Первое — это точка зрения

психоаналитической теории, следуя которой восстановление гомеостатического равновесия является единственной основной тенденцией жизни. Второе — это учение о самореализации как конечной цели жизни». Но только в той степени, в какой человек реализует смысл, в той степени он реализует и самого себя: самореализация происходит тогда сама собой как результат реализации смысла, но не как его цель. Лишь существование, которое трансцендирует само себя, может реализоваться, в то время, как интендируя себя самое или самореализацию, оно упустило бы себя. К сущности человека относится стремление к упорядоченности, направленности — на что-то, на кого-то, на идею или на личность. Шарлотта Бюлер совершенно справедливо замечает: «То, что на самом деле имели в виду последователи принципа самореализации, — это стремление к раскрытию потенциальных возможностей». Действительно, в конечном счете все сводится к реализации собственных возможностей. Но давайте спросим все же самих себя, что стоит за всеми этими учениями, которые предлагаются сегодня современному человеку. То — что он должен попытаться осуществить свои внутренние возможности или, как уже было сказано, выразить самого себя. С моей точки зрения, мотив, который скрывается за ними, направлен на то, чтобы уменьшить напряжение, которое вызывается разрывом между тем, чем является человек, и тем, чем он должен стать; напряжение, о котором мы можем также сказать, что это напряжение между реальностью, с одной стороны, и теми идеалами, которые еще должны быть осуществлены, с другой; или, выражаясь иначе, напряжение между существованием и сущностью, между бытием и смыслом. Действительно, объявление о том, что человеку не надо заботиться ни о каких идеалах и ценностях, т.к. они представляют собой не что иное, как выражение самого себя, и человеку надо поэтому спокойно ограничиться тем, чтобы реализовать самого себя и свои возможности, — такое объявление означает радостную новость; таким образом человек узнает, что ему совсем не нужно стремиться к реализации смысла или ценностей, так как все уже и так в порядке, все это уже имеется, по крайней мере в форме собственных возможностей, которые следует реализовать. Императив Пиндара о том, что человек должен стать тем, что он есть, лишается, таким образом, своего императивного характера и превращается в индикативный тезис, который звучит так: «Кем бы человек ни должен был стать, он уже этим является ! И именно поэтому ему не нужно заботиться ни о каких идеалах, то есть, образно выражаясь, ему не надо стремиться к звездам, чтобы вернуть их на Землю, — ведь посмотрите: Земля — сама звезда...»

И вздох облегчения проходит по рядам обывателей, которые в своей псевдоморальности почувствовали себя неуютно! Но мы-то знаем, что напряжение между бытием и смыслом неотменимо коренится в сущности человека. Напряжение между бытием и долженствованием составляет особенность человеческого существования как такового, и поэтому оно является непрямым условием душевного здоровья. Исследования, проведенные в США, показали, что основное понятие логотерапии — смысловая ориентированность — является превосходным критерием психического здоровья.

Но и в более глубоком смысле разрыв между бытием и долженствованием, между бытием и смыслом является существенным для человеческого бытия в целом. Не могут и не должны в одном таком конечном существе, как человек, совпадать и согласовываться существование и сущность. Напротив, смысл должен всегда опережать бытие — лишь тогда смысл может быть тем, чем он должен быть: он должен идти впереди бытия! Существование же, наоборот, остается замкнутым на себе самом, поскольку оно не трансцендирует себя самое, выходя за рамки себя в направлении на что-то вне себя.

В Библии сказано, что во время странствия израильского народа по пустыне Бог в виде облака шел впереди своего народа. И я не могу найти другого толкования этой истории, чем следующее: смысл (сверхсмысл, как я его обычно называю) предшествовал бытию так, что последнее следовало за первым, а первый увлекал за собой последнего. Но давайте спросим себя, что бы произошло, если бы Божья милость не шла впереди израильского народа, а находилась бы среди народа. Совершенно очевидно, что облако было бы никак не в состоянии провести народ Израиля через пустыню и привести его к цели, а покрыло бы все туманом; никто не нашел бы правильного пути, и израильский народ заблудился бы.

Если мы признаем эту экзистенциальную динамику, то сможем очень хорошо различать два человеческих типа, которые я хотел бы обозначить терминами «лидеры» и «миротворцы». Лидеры призывают нас осознать все ценности и смысл, они взывают к нашей воле, к разуму. Миротворцы же, напротив, пытаются освободить нас от тяжести всякого столкновения со смыслом.

Лидером, как известно всем, был Моисей: он ни в коем случае не стремился успокоить совесть своего народа, напротив, он взывал к ней. Он дал своему народу десять заповедей, спустившись с горы Синай, и не старался уберечь его ни от столкновения с идеалами, ни от знания о плетущейся за ними реальности.

Для миротворца важнее всего внутреннее равновесие, которое ни в коем случае не должно быть нарушено и ради сохранения которого не только позволены все средства, но и весь мир денатурируется и низводится лишь до средства, будь это средство удовлетворения влечения или же самореализации, умиротворения потребностей, укрощения сверх-Я или раскрытия архетипа. Так или иначе, человек примиряется с самим собой — человек «уравновешивается». Что неоспоримо — так это факты. А факт заключается в том, что идеалов достигает меньшинство; стало быть, почему мы должны из-за них беспокоиться, почему мы должны быть иными, чем средний человек? Зачем нам стремиться стать идеальными — давайте останемся нормальными!

Шарлотта Бюлер полагает, что функционирование здорового организма зависит от чередования тенденций разрядки напряжения и возрастания напряжения. Спросим себя, а не существует ли для этого — назовем его — онтогенетического ритма также филогенетического аналога. И разве не указал Шопенгауэр на сменяющее друг друга господство то нужды, то скуки, как это проявляется на историческом и общественном уровнях? Периоды нужды и эпохи скуки сменяют друг друга, пусть и не так, как в случае со «здоровым организмом» — в постоянном чередовании, а в следовании друг за другом. Да, мы хотели бы даже позволить себе утверждение, что человек в «гомеостатические» времена (как, скажем, во времена «общества благосостояния») добровольно принимает на себя нужду в качестве противовеса. Гелен, который тоже придерживается точки зрения, что «гнет нужды антропологически имеет, вероятно, необычайное значение», в этой связи объясняет, что «если бы можно было представить себе выход, то это мог бы быть только аскетизм». Мы не можем согласиться лишь с тем его тезисом, «что почти из всех элементов христианской религии аскетизм не был секуляризован», так как нам кажется, что спорт является тем фактором, который взял на себя миссию подвергать организм периодическому стрессу и помогать людям, живущим в обществе благосостояния, создавать ситуации искусственной и быстро преходящей нужды. Еще более сомнительным, чем расхожие мотивационные теории, является их практическое применение в психической гигиене. Оно ошибочно уже постольку, поскольку исходит из неверного принципа, состоящего в том, чтобы не допускать возникновения малейшего напряжения в человеке; одним словом, в их основе лежит преклонение перед принципом гомеостаза, чтобы не сказать — «принципом нирваны» (Фрейд). Однако человек нуждается на самом деле не в состоянии, свободном от всякого напряжения, а, напротив, в определенной здоровой дозе напряжения, какое вызывается его востребованностью и загруженностью благодаря присутствию в его жизни смысла.

Однако общество благосостояния испытывает недостаток напряжения; получается так, что современному человеку в сравнении с прежними временами недостает нужды и напряжения, так что он в конце концов разучился выносить и то, и другое. Его способность выносить фрустрацию понизилась, он разучился отказывать себе. Но именно в этой ситуации человек начинает искусственно создавать напряжение, которое задолжало ему общество; он создает себе напряжение, которое ему необходимо. И вот человек, живущий в обществе благосостояния, начинает добровольно ограничивать себя, добровольно отказываясь от чего-либо или намеренно создавая ситуацию нужды. В обществе излишеств он начинает создавать, так сказать, «островки аскетизма», — именно в этом я вижу функцию спорта: он является современным, светским аскетизмом.

Американские профессора жалуются на то, что современные студенты отличаются глубочайшей апатией: «Почти на каждом университетском кампусе от Калифорнии до Новой Англии апатия студентов была темой обсуждений. Эта тема наиболее часто затрагивалась во время наших дискуссий с преподавателями факультетов и студентами».

Профессора США высоко держат идеал свободы; но свобода, которую они имеют в виду, негативна и нуждается в дополнении позитивной идеей, а именно идеей ответственности. Когда же наконец будет воздвигнута в дополнение к статуе Свободы на восточном побережье статуя Ответственности на западном побережье?

В США психоаналитики жалуются на то, что они начали сталкиваться с новым типом невроза, чьим отличительным признаком является недостаток инициативы и интереса.

По-видимому, человек так же плохо переносит продолжительное отсутствие трудностей в психологическом плане, как и абсолютную невесомость в физическом смысле, и, по-видимому, ему столь же трудно существовать в лишенном смысла пространстве, как и в безвоздушном.

Известно, что полная изоляция от сенсорных раздражителей, как это происходит в ходе экспериментов, являющихся частью подготовки к космическим полетам, приводит к обману чувств. Исследования, проведенные в университетах Йеля и Гарварда, показали, что причиной сенсорного голода является «не отсутствие раздражителей органов чувств само по себе, а отсутствие осмысленных раздражителей». Оказывается, элементарная потребность в смысле может быть прослежена у человека вплоть до биологических основ существования. Лейтмотив

логотерапии, прокладывая мост между значениями слов «дух» и его «смысл», — звучит как fuga: дух требует смысла, ноос — логоса, а ноогенные заболевания — логотерапевтического лечения.

Наряду с ноогенными невротами существуют не только психогенные, но и описанные мною соматогенные псевдоневрозы. Я упомяну лишь агорафобии, за которыми скрывается гипертиреоз; клаустрофобии, в которых скрыта латентная тетания и симптомы деперсонализации, а также психодинамические синдромы, за которыми скрывается недостаточность коры надпочечников. Поэтому не может идти и речи о том, что логотерапия является в своей теории спиритуалистичной, а в своей практике — моралистичной. Подобное можно было бы адресовать скорее психосоматической медицине. В самом деле, телесные заболевания не занимают в жизни того постоянного места и не оказывают того воздействия на духовную жизнь, которое ему приписывает психосоматическая медицина. Тело человека ни в коем случае не является достоверным зеркальным отражением его духа — это касается также и «одухотворенного» тела; тело же «падшего» человека если и является зеркалом, то разбитым, искажающим зеркалом духа. Конечно, любая болезнь имеет свой «смысл»; но действительный смысл болезни лежит не в «почему» болезни, а в «как» страдания, в отношении больного к своей болезни, в его точке зрения на свою болезнь, в том, как он с ней справляется. Является ли логотерапия в своей практике моралистичной? Она не является таковой уже по той простой причине, что смысл не может быть выписан по рецепту. Врач не может дать жизни пациента смысл. Смысл в конечном счете вообще не может быть дан, а должен быть найден. Логотерапия не решает вопрос о смысле или его отсутствии, о ценности или ее отсутствии, ибо не логотерапия, а змий в райском саду обещал человеку, что он сделает его «подобным Богу, способным распознавать добро и зло».

О смысле смерти.

При попытке дать ответ на вопрос о смысле жизни — этого самого человеческого из всех возможных вопросов — человек должен обратиться к самому себе как к тому, с кого жизнь спрашивает, к тому, кто должен отвечать за свою жизнь. Он придет таким образом к непреложному факту: человеческое бытие — это ответственное бытие. В экзистенциальном анализе ответственность предстает как нечто, что проистекает из конкретности личности и ситуации и развивается вместе с этой конкретностью. Ответственность растет, как оказалось, вместе с уникальностью личности и неповторимостью ситуации. Единственность и неповторимость ситуации являются для смысла человеческой жизни основополагающими. В обоих этих существенных моментах существования человека заложена одновременно и конечность его существования. Следовательно, она сама должна также являть собой нечто, что дает человеческому существованию смысл, а не отнимает его. На этом мы остановимся и для начала ответим на вопрос, может ли конечность существования человека во времени, временная конечность его жизни — факт смерти, — сделать ее бессмысленной. Как часто нам говорят о том, что смерть подвергает сомнению смысл всей жизни, что все в конечном счете бессмысленно, так как смерть все равно все уничтожит. Может, смерть действительно уничтожает осмысленность жизни? Напротив. Что бы произошло, если бы наша жизнь не имела конца во времени, а была бы неограниченной? Если бы мы были бессмертны, то могли бы с полным правом отодвигать любое дело до бесконечности, нам бы никогда не удалось сделать его именно сейчас — его можно было бы с таким же успехом сделать завтра или послезавтра, через год или через 10 лет. Однако перед лицом смерти как непреодолимой границы нашего будущего мы стремимся использовать время нашей жизни и не упустить неповторимые возможности, «конечная сумма» которых представляет собой итог всей жизни.

Следовательно, конечность существования является не только существенным признаком человеческой жизни, но и основополагающим для ее смысла. Смысл человеческого существования имеет свою основу в его необратимом характере. Ответственность человека перед жизнью может быть поэтому понята лишь тогда, когда она будет понята как ответственность с точки зрения временности и неповторимости. Следовательно, если мы хотим повернуть сознание наших пациентов в сторону понимания их жизни как ответственности перед ней и сделать это с позиций экзистенциального анализа, если мы действительно хотим убедить их в необходимости именно так понимать их жизнь, тогда мы должны попытаться с помощью сравнений показать им исторический характер жизни и вместе с этим человеческую ответственность перед жизнью. Простому человеку, который сидит в кабинете врача на приеме, можно было бы посоветовать представить себе, например, что он на склоне лет листает свою собственную биографию и раскрыл ее как раз на той главе, которая рассказывает о сегодняшнем отрезке его жизни; если бы он чудесным образом имел возможность решать, что же будет в следующей главе этой биографии, тогда в его власти было бы еще успеть внести поправки в решающую главу его

ненаписанной, внутренне прожитой истории жизни. Можно было бы экзистенциальную максиму облечь в следующую императивную форму: живи так, как будто ты живешь во второй раз и в первый раз сделал все так же неверно, как ты это опять собираешься сделать. Если кому-нибудь удастся вообразить это себе, тогда в тот же момент он осознает все величие ответственности, которая лежит на человеке в каждый момент его жизни: ответственности за то, что должно получиться из каждого следующего часа, за то, как он организует свой следующий день.

Или мы просим пациента представить себе свою жизнь так, словно это фильм, который как раз «снимается», но его кадры не могут быть разрезаны, т. е. ничто из того, что уже было однажды «снято», не может быть исправлено. И таким образом нам удастся наглядно показать необратимый характер человеческой жизни, историчность существования.

В начале жизнь — это только чистая субстанция, еще нечто неиспользованное; к концу же она все более теряет характер субстанции, превращаясь в функцию, и в конце состоит больше в том, что время «отделило» от его носителя, того или иного конкретного человека: его дела, переживания и страдания. Так, человеческую жизнь можно сравнить с радиом, который, как известно, имеет лишь ограниченную «продолжительность жизни», т.к. его атомы распадаются и его материя постепенно превращается в энергию, излучаемую им, которая никогда больше не возвращается и никогда больше не переходит снова в материю. Так как процесс атомного распада необратим, «однонаправлен», то и в ради, следовательно, первоначальная вещественность, субстанциальность исчезает в возрастающей мере. Подобное же можно сказать и о жизни постольку, поскольку ее первичный материальный характер все более отступает, пока в конце жизнь не становится чистой формой. Человек подобен скульптору, который обрабатывает бесформенный камень с помощью зубила и молотка так, что материал постепенно приобретает форму. Человек же обрабатывает вещество, которое поставляет ему судьба; то созидая, то переживая или страдая, он пытается «высечь» из своей жизни нечто ценное, на что он способен: ценности творчества, переживания или отношения. В приведенное выше сравнение со скульптором можно внести и момент времени; надо лишь представить, что скульптору для завершения своего произведения дано ограниченное время, но не объявлен точный срок, когда он должен будет отдать свое произведение. И он никогда не знает, когда он будет «отозван» и не произойдет ли «отзыв» в следующее мгновение. Поэтому он вынужден в любом случае использовать время, опасаясь того, что его произведение останется незаконченным. Но то, что он не успел его завершить, отнюдь не обесценивает его. «Фрагментарный характер» жизни не прерывает смысла жизни (Зиммель). Мы не можем судить о полноценности жизни, исходя из ее продолжительности. Ведь мы оцениваем биографию не по ее длине, (по количеству страниц в книге), а по ее содержанию. Героическая жизнь умершего в молодости человека безусловно имеет больше содержания и смысла, чем существование какого-либо долгоживущего обывателя. Так же как и «Неоконченная симфония» относится к прекраснейшим музыкальным произведениям.

Жизнь человека похожа на экзамен: имеет значение не столько то, завершена ли работа, а то, насколько она ценна. Любой экзаменуемый должен быть готовым к тому, что звонок объявит ему об окончании предоставленного ему времени. Каждому человеку нужно быть в любой момент готовым к тому, что однажды будет «отозван» и он.

Человек призван обязательно что-то завершить, т. е. сознательно принять в расчет конечность своей жизни. Такая установка не означает еще ничего героического; она проявляется уже в повседневном поведении нормального человека. Например, в качестве кинозрителя он скорее будет настаивать на том, чтобы фильм вообще имел конец, чем на том, чтобы он имел счастливый конец. Даже простой факт, что нормальный человек в повседневной жизни нуждается в таких вещах, как кино или театр, уже доказывает стремление к осмысленности: если бы не было необходимости в том, чтобы истолковать происшедшее, т. е. развернуть его во времени, представить исторически, то он бы мог удовольствоваться тем, чтобы ему вкратце изложили «мораль», вместо того чтобы часами сидеть в театре или кино.

Итак, совсем нет нужды в том, чтобы каким-то образом исключать смерть из жизни человека: ведь она, по сути дела, является составной частью жизни! Но совершенно невозможно преодолеть ее — как это ошибочно делает человек, когда он стремится к вечности, — путем продолжения рода. Утверждение, что смысл жизни заключается в потомстве, неверно. Во-первых, нашу жизнь нельзя продолжить в потомках: ведь и целые рода вымирали, в конце концов, и когда-то, видимо, должно будет погибнуть и все человечество, это может произойти в результате космической катастрофы. Если бы конечная жизнь была бессмысленной, то было бы совершенно безразлично, когда придет конец, в обозримом ли будущем или нет. Кто закрывает глаза на нерелевантность этого момента, тот подобен той даме, которая, услышав предсказание астронома о том, что конца света следует ожидать через миллиард лет, в ужасе отшатнулась и в ответ на повторное уверение «не раньше чем через миллиард лет» облегченно вздохнула и заметила: «Я-то поняла сначала: уже через миллиард лет». Жизнь или имеет смысл (тогда она сохраняет его независимо от того, длинна

она или коротка, имеет она продолжение или нет), или не имеет смысла (тогда она и не получит его, будет ли она длиться долго-долго или продолжаться неограниченно в потомстве). Если бы жизнь бездетной женщины лишь по этой причине была действительно бессмысленной, тогда это значило бы, что человек живет только ради своих детей и что исключительный смысл его существования состоит в каждом следующем поколении. Этим, однако, проблема только отодвигается, поскольку каждое поколение передает ее нерешенной следующему поколению. В чем же другом должен тогда заключаться смысл жизни одного поколения, если не в воспитании следующего? Делать непрерывно что-то само по себе бессмысленное является бессмыслицей. Нечто само по себе бессмысленное не становится осмысленным только из-за того, что оно увековечивается.

И пусть, догорев, гаснет факел — его свечение имело смысл; не имеет, однако, никакого смысла передавать из рук в руки в вечной эстафете факел, который не горит. «То, что должно светить, должно терпеть, что горит», говорит Вильдеганс и подразумевает, видимо, под этим «должно терпеть, что страдает»; мы же можем сказать иначе: «должно терпеть, что сгорает, т. е. догорает до конца».

Так мы подходим к парадоксу, что жизнь, единственный смысл которой состоит лишь в продолжении рода, столь же бессмысленна, как и продолжение рода. Напротив, продолжение рода тогда и только тогда имеет смысл, когда жизнь человека сама по себе представляет нечто осмысленное. Отсутствие потомства не может сделать бессмысленным существование великого человека. Более того: весь ряд предков, ведущий к нему, мог уже благодаря значительности этого одного существования, получить свой высший смысл. Из всего этого мы видим, что жизнь никогда не может быть самоцелью, что продолжение рода никогда не может быть ее собственным смыслом; более того, она получает свой смысл лишь из других небιологических взаимосвязей. Эти взаимосвязи представляют собой момент трансцендентности. Жизнь трансцендирует себя самое не «в длину» — в смысле своего собственного продолжения, а «в высоту» — интендируя смысл.

Сообщество и масса.

Коррелятом к неповторимости человеческого существования во времени является неповторимость, уникальность каждого человека по отношению к окружающим его отдельным индивидуумам. Но так же как смерть в качестве временного внешнего ограничителя не делает жизнь бессмысленной, а скорее подчеркивает ее осмысленность, так и внутренняя ограниченность человека дает его жизни смысл. Если бы все люди были совершенными, то все были бы равны друг другу, следовательно, каждый в отдельности мог бы быть заменен любым другим. Но именно из несовершенства человека следует необходимость и незаменимость каждого в отдельности; так как хотя каждый в отдельности и несовершенен, но каждый своеобразен. Каждый в отдельности не всесторонен, а односторонен, и благодаря этому единственен в своем роде.

Обратимся к биологической модели: как известно, одноклеточное живое существо «оплатило» свое развитие до многоклеточного организма бессмертием, пожертвовав всемогуществом. Однако в обмен за него клетка получила свою специфику. Высокодифференцированная клетка сетчатки глаза, например, в своей функции не заменима никаким другим видом клеток. Так, принцип рабочего деления клетки хотя и отобрал у нее ее функциональную многосторонность, но зато дал ей относительную незаменимость для организма в ее функциональной однозначности. В мозаике, например, каждая частичка, каждый отдельный камень по своей форме и цвету представляет собой нечто не только неполное, незаконченное, но и несовершенное. Лишь как часть целого и для целого он что-то значит. Если бы каждый камень содержал, как миниатюра, в отдельном целом, то был бы заменен любым другим. (Кристалл по своей форме можно считать совершенным, но именно поэтому он может быть заменен любым другим представителем той же самой формы кристалла. Один октаэдр похож на другой.)

Чем выше дифференцирован человек, тем меньше он соответствует норме — как в смысле среднего человека, так и в смысле идеала. Но он приобрел свою индивидуальность ценой этой нормальности или идеальности. Значение же такой индивидуальности, смысл человеческой личности каждый раз направлен на сообщество и связан с ним. Так же как своеобразие придает ценность мозаичному камню по отношению к целому, так и смысл всего личного своеобразия человека заключается в его значимости для вышестоящего целого. Смысл личного существования, смысл отдельного человека как личности, выходит за собственные рамки, указывая на сообщество; в направленности на сообщество смысл индивидуума трансцендирует сам себя.

Таким образом, помимо социальности человека как воспринимаемого нами факта сообщество предстает в своей заданности. Из ее простой психологической, или даже биологической,

фактичности — ведь человек является «социальным животным» — вырастает этический постулат. Но не только индивидуальное существование нуждается в сообществе, чтобы стать осмысленным, но и само сообщество нуждается в индивидуальном существовании, чтобы самому иметь смысл. Это существенно отличает сообщество от простой массы. Масса не терпит никакой индивидуальности, не говоря уже о том, чтобы индивидуальное существование могло найти в ней реализацию смысла. Если отношение индивидуума к сообществу можно сравнить с отношением мозаичного камешка ко всей мозаике, то тогда отношение отдельного человека к массе можно сравнить с отношением стандартного булыжника к серой уличной булыжной мостовой: каждый булыжник, одинаково отбитый, здесь может быть заменен другим. Для большого целого он не имеет больше никакого качественного значения. И оно само больше уже не является целым, а лишь только большим. Монотонная уличная булыжная мостовая не имеет эстетической ценности мозаики, а имеет, скорее, лишь ценность полезности, так же как и масса знает лишь полезность человека, а не его ценность и достоинство.

Смысл индивидуальности реализуется лишь в сообществе. Следовательно, ценность индивидуума зависит от сообщества. Если сообщество само обладает смыслом, то оно не может обойтись без индивидуальности составляющих его индивидуумов; тогда как в массе смысл отдельного единственного в своем роде существования погибает, должен погибнуть, поскольку в массе всякое своеобразие проявилось бы как мешающий фактор. Смысл сообщества определяется индивидуальностью, а смысл индивидуальности определяется сообществом; «смысл» массы нарушается индивидуальностью индивидуумов, составляющих ее. Смысл индивидуальности погибает в массе (тогда как в сообществе он расцветает). Уникальность каждого человека и неповторимость всякой жизни основополагающи для смысла существования. Но ее следует отличать от простой числовой характеристики, которая сама по себе не имеет ценности. Тот простой факт, что каждый человек отличается от всех других дактилоскопически, отнюдь не делает каждого человека личностью. Поэтому когда речь идет об уникальности как смысловом моменте человеческого существования, то имеется в виду не эта дактилоскопическая уникальность. Следовательно, можно было бы говорить — по аналогии с «хорошей» и «дурной» бесконечностью Гегеля — о «хорошей» и «дурной» уникальности. «Хорошая» уникальность была бы тогда той, которая направлена на сообщество, для которого человек как уникальный индивидуум имеет ценностное значение.

Уникальность человеческого существования обоснована, с нашей точки зрения, онтологически. Существование личности представляет особую форму бытия. Дом, например, составлен из этажей, а этажи из комнат. Дом, таким образом, можно понять как сумму этажей, а комнату как результат деления этажа. Таким образом мы можем проводить границы внутри бытия более или менее произвольно, т. е. произвольно разграничивать и вычленять «части» из тотальности бытия. Только личностное бытие, личное существование уходит от этого произвола; личность — это нечто заключенное в самом себе, существующее для себя, не поддающееся ни делению, ни сложению.

Привилегированное место человека и рамках бытия, человеческий способ бытия как особый мы можем уточнить еще тем, что в добавление к нашему первоначальному тезису «быть — значит быть другим» добавим утверждение: бытие личности (человеческое бытие, существование) означает абсолютно другое бытие. Сущностная ценностная уникальность каждого отдельного человека означает не что иное, как то, что он является именно другим, отличным от всех остальных людей.

Бытие человека нельзя, следовательно, свести к какому-нибудь комплексному бытию высшего порядка без того, чтобы в этом вышестоящем бытии не потерялось бы достоинство человеческого бытия. Отчетливее всего мы видим это на примере массы. Постольку, поскольку масса действительна и в этом смысле «реальна», она никогда не действует сама по себе. Социологические законы действуют не поверх голов отдельных личностей, а именно через них. Они могут быть значимыми, но они действуют лишь на уровне массово-психологической статистической вероятности, и лишь в той степени, в какой тип среднего человека можно определить психологически. Этот тип среднего человека является, однако, научной фикцией, а не реальной личностью. Он не мог бы быть ею именно потому, что он просчитываем.

В результате бегства в массу человек теряет то, что ему более всего свойственно: ответственность; однако, отдаваясь той задаче, которую ставит перед ним сообщество, в которое он входит или в котором он рождается, человек приобретает дополнительную долю ответственности. Бегство в массу — это бегство от индивидуальной ответственности. Как только кто-нибудь делает вид, что он является только частью целого и что лишь это целое является подлинным, у него появляется чувство, что он избавился от груза своей ответственности. Эта тенденция к бегству от ответственности является мотивом всякого коллективизма. Подлинное

сообщество — это прежде всего сообщество ответственных личностей. Простая масса — это лишь сумма обезличенных существ.

В оценке людей коллективизм характеризуется тем, что он вместо ответственных личностей видит один лишь тип и вместо личностной ответственности — привязанность человека лишь к типу. Но потеря ответственности наблюдается не только со стороны объекта оценки, но и со стороны субъекта. Ведь оценка только лишь по типу означает облегчение для оценивающего, поскольку она частично снимает с него ответственность за оценку. Если человека оценивают как тип, то не стоит вообще заниматься этим единичным случаем, и это очень удобно. Так же удобно, как, например, оценка мотора по его фабричной марке или по типу его конструкции. Если кто-нибудь имеет определенный тип машины, то он уже знает, что у него за машина. Если известна марка пишущей машинки, то известно также, чего от нее можно ожидать. Даже на собачью породу можно положиться: от пуделя следует ожидать одних склонностей и особенностей характера, а от овчарки — других. Лишь с человеком все обстоит иначе. Лишь человека невозможно ни определить, ни просчитать, исходя из его принадлежности к какому-либо типу. Этот расчет никогда не был бы окончательным, всегда оставался бы какой-то остаток. Этот остаток соответствует свободе человека уйти от обусловленности типажем. Как предмет нравственной оценки человек начинается вообще лишь тогда, когда у него появляется свобода воспротивиться привязанности к тому или иному типу, лишь тогда его бытие становится ответственным, лишь тогда человек является собственно человеком. Чем больше машина соответствует норме, тем она лучше; однако чем более соответствует норме человек, чем более он раскрывается в своем типе (расе, классе или характере) и соответствует средней норме — тем более отдален он от этической нормы.

В моральной области коллективизм в оценке или в приговоре людей ведет к тому, что делает их «коллективно ответственными». Конечно, намного удобнее оценивать целые «расы», чем оценивать каждого отдельного человека по тому, к какой из двух единственно релевантных в этическом отношении «рас» он принадлежит: к «расе» порядочных людей или к «расе» не порядочных.

Свобода и ответственность.

Ответственность человека, осознание которой столь важно для экзистенциального анализа — это ответственность перед неповторимостью и уникальностью каждого человеческого существования; существования ответственного перед лицом своей конечности. Эта конечность жизни не делает ее бессмысленной; напротив, смерть делает жизнь осмысленной. Мы сказали, что неповторимость жизни включает в себя неповторимость каждой ситуации; единственность жизни включает единственность каждой судьбы. Судьба вообще является, по аналогии со смертью, частью жизни. Человек не может выйти из рамок своей конкретной, единственной и неповторимой судьбы. Если он борется против своей судьбы, против того, за что он не несет никакой ответственности или вины, тогда он игнорирует смысл судьбы, а смысл судьбы существует — именно судьба дает жизни смысл, как и смерть. В границах своего исключительного пространства — судьбы — каждый человек незаменим. Каждый отдельный человек со своей единственной судьбой — один во всем космосе. Его судьба не повторится. Ни у кого нет тех же самых возможностей, какие есть у него, и он сам никогда больше не будет иметь их вновь. Все те возможности реализовать ценности творчества или переживания, которые ему выпадают, т. е. все, что ему преподнесет судьба и чего он, следовательно, не сможет изменить, а должен будет нести, реализуя ценности отношения, — все это уникально и неповторимо.

Парадоксальность отказа от судьбы становится ясной, когда кто-нибудь спрашивает, кем бы он стал, если бы его зачал не его фактический отец, а какой-нибудь другой человек. Но при этом он забывает, что в этом случае «он» был бы не он, что носителем судьбы был бы совсем другой, так что он больше не мог говорить уже о *своей* судьбе. Следовательно, вопрос о возможности другой судьбы сам по себе невозможен, противоречив и бессмыслен.

Судьба относится к человеку так же, как земля, к которой его приковывает сила тяжести, но без которой, однако, ходьба была бы невозможной. Мы должны принять свою судьбу, как и землю, на которой мы стоим, — землю, служащую нам трамплином для нашей свободы. Свобода без судьбы невозможна; свобода может означать лишь свободу по отношению к своей собственной судьбе. Каждый человек свободен. Но он не свободно парит в безвоздушном пространстве, а окружен множеством взаимосвязей. Эти взаимосвязи являются, однако, точками посягательства на его свободу. Свобода предполагает связанность, не может обойтись без нее. Но эта невозможность не означает зависимости. Земля, по которой идет человек, трансцендируется каждый раз уже в ходьбе и является для него стартовой площадкой. Если бы мы захотели дать определение человеку, то следовало было бы определить его как существо, которое каждым раз освобождается от того, чем оно определяется (определяется как биологический, социологический и

психологический тип); то есть существо, которое трансцендирует все эти определения, преодолевая или преобразуя их, и в то же время продолжая подчиняться им.

Эта парадоксальность характеризует диалектический характер человека, к существенным чертам которого относятся его вечная незаконченность и отказ от самого себя: его реальностью является возможность, а его бытие определяется тем, чем он может быть.

Человеческое бытие — это ответственное бытие, потому что это свободное бытие. Это бытие, которое каждый раз решает, чем ему быть: это «решающее бытие» (Ясперс). Это именно бытие, а не просто наличествование (Хайдеггер). Стол, который стоит передо мной, есть и останется таким, какой он есть, если он не будет изменен человеком; человек же, который сидит за этим столом напротив меня, каждый раз решает, кем он будет в следующую секунду, что он скажет мне или, может быть, не скажет. Многообразие различных возможностей, из которых он в своем существовании реализует всегда лишь единственную, отличает его бытие как таковое (отличительное бытие человека, названное экзистенцией, может быть также обозначено как «бытие, которым являюсь я»). От выбора среди огромного количества возможностей человеку не уйти ни на один миг своей жизни. Он может только делать вид, будто не имеет свободы выбора и принятия решений.

Существует исторический анекдот об австрийском кайзере Франце I, рассказывающий о том, что он сказал об одном просителе, который неоднократно появлялся и просил об аудиенции по поводу одного и того же дела и которому каждый раз в ней отказывали. И вот когда однажды проситель появился в очередной раз и кайзеру доложили об этом, он обратился к адъютанту со словами: «Вот увидите, этот дурак все равно своего добьется». Что нам кажется смешным в этом анекдоте? То, что кайзер делает вид, что он не свободен сам решить, удастся ли дураку в следующий раз «добиться своего».

Комизм человека, который не осознает свою свободу принятия решений, становится очевидным в некоторых забавных историях. Так, одна из них рассказывает о человеке, который объясняет своей жене, сколь аморально современное человечество, и в качестве доказательства добавляет: «Сегодня, например, я нашел сумку. Ты думаешь, мне пришло в голову отдать ее в бюро находок?». Что смешного в этом человеке? Да то, что он говорит о собственной аморальности так, как будто за нее не отвечает. Этот человек делает вид, что он должен принимать свою собственную аморальность как данность, так же как следует принимать аморальность других людей как факт. Он делает вид, будто он несвободен и не может решать, оставит ли он сумку у себя или отнесет ее в бюро находок.

Мы уже упоминали о человеке, который представил «сущность» жизни как процесс сгорания. Свеча, которая *наличествует* (пользуясь экзистенциалистской терминологией), сгорает до конца, не будучи в состоянии каким-либо образом управлять этим процессом; человек же — напротив, каждый раз имеет возможность свободно решать, как распорядиться своим *бытием*. Его возможность решать настолько всеобъемлюща, что он может воспользоваться еще и возможностью самоуничтожения: человек может «погасить самого себя».

Свобода любого решения, так называемая свобода воли является для непредубежденного человека вещью само собой разумеющейся; он воспринимает себя свободным. Seriously сомневаться в свободе воли может лишь тот, кто находится в плену детерминистской философской теории или страдает параноидной шизофренией и воспринимает свою волю как несвободную, «навязанную». Однако в невротическом фатализме скрыта свобода воли: невротик сам себе закрывает путь к действительным возможностям, он сам преграждает себе путь к тому, чем он мог бы быть. Так он деформирует свою жизнь и уходит от действительности становления вместо того, чтобы ее совершать (так как человеческое бытие как целое может быть охарактеризовано как «действительность свершения»). Свободе воли противостоит судьба, так как судьбой мы называем именно то, что принципиально ускользает от свободы человека, то, что не находится ни во власти, ни в ответственности человека. Причем мы ни на один миг не забываем, что человеческая свобода как таковая накрепко связана с судьбой, поскольку она вообще может раскрыться лишь в ней и благодаря ей.

К судьбе относится, прежде всего, все прошлое, (в силу своей необратимости). Фактическое (сделанное, ставшее, прошедшее) и есть подлинный фатум. И тем не менее, человек свободен и по отношению к прошлому, а следовательно, и по отношению к судьбе. Хотя прошлое и делает понятным настоящее, было бы несправедливым, если бы будущее определялось исключительно прошлым, — характерное заблуждение типично невротического фатализма, который одновременно с пониманием ошибок, сделанных в прошлом, соглашается на прощение тех же самых ошибок в будущем, тогда как ошибки прошлого могли бы служить благодатным материалом для «лучшего» будущего, если бы из них извлекали уроки. Следовательно, человеку предоставляется свобода: или фаталистически относиться к своему прошлому, или извлекать из

него уроки. Но учиться никогда не бывает слишком поздно — как, впрочем, и никогда не бывает слишком рано. Кто игнорирует это, подобен тому пьянице, которому однажды сказали, что он должен бросить пить, на что он ответил, что уже слишком поздно; когда же ему возразили, что это-де никогда не поздно сделать, он ответил: «Тогда у меня тем более еще есть время!».

Благодаря необратимости прошлого, которое стало судьбой, как раз и провозглашается человеческая свобода: судьбе следует каждый раз быть стимулом для ответственного деяния. Человеку приходится в жизни каждый раз из всего множества возможностей выбирать единственную и, реализуя ее, помещать в царство прошлого, укрывая, так сказать, в надежное место. Прошедшее «остаётся» в царстве прошлого, как бы парадоксально это ни звучало, и «остаётся» не вопреки, а именно благодаря тому, что оно прошло! Ведь мы уже говорили, что реальность прошлого сохраняется в двойном смысле «уничтожения» и «сохранения», и утверждали: происшедшее — это самая «надежная» форма бытия. Преходящи лишь возможности (вспомните о неповторимых ситуационных ценностях и о необратимо преходящей возможности их реализации); то, что сохранено от преходящести, — это сохраненная в прошлом реальность. Мгновение становится вечностью, если удастся превратить возможности, которые таит в себе настоящее, в те реальности, которые в прошлом надежно укрыты «навечно». В этом смысл любой реализации. В этом смысле человек реализует возможности не только тогда, когда он совершает какое-то деяние или создает произведение, но и тогда, когда речь идет лишь о переживании. В этом смысле, и в соответствии с логикой объективизма этого рода, можно утверждать, что реализованное путем переживания не может быть действительно уничтожено тем, что оно попадает в забвение, даже путем полного устранения возможности ожить в воспоминаниях, например, из-за смерти субъекта переживаний. Обычно человек видит лишь скошенное поле преходящего; но он упускает из виду полные сараи прошлого. В прошлом же, однако, нет ничего безвозвратно потерянного, скорее все сохранено без потерь. Нельзя устранить из мира ничего, что однажды произошло: ведь однажды оно было привнесено в мир!

О силе человеческого духа.

Судьба человека трактуется по-разному: как его предрасположенность (то, что Тандлер назвал «соматическим фатумом человека и как его положение, т. е. совокупность всех его внешних ситуаций. Предрасположенность и положение в сумме составляют позицию человека. Человек имеет определенную установку по отношению к позиции, которая в отличие от в значительной степени определяемой судьбой позиции — свободна. Доказательством этому является то, что существует возможность переустановки, что означает изменение установки во времени и со временем. К переустановке в этом смысле относится не только все, что мы называем воспитанием, перевоспитанием и самовоспитанием, но и психотерапия в широчайшем смысле слова, и такие феномены, как, например, обращение в веру или перемена образа мыслей.

Предрасположенность представляет собой биологическую судьбу человека, положение — его социальную судьбу; к этому нужно добавить его психологическую судьбу, к которой относится его душевная установка. Ниже мы последовательно проанализируем, как влияют на человеческую свободу в качестве судьбоносного фактора биологическая, психологическая и социальная судьбы.

Биологическая судьба.

Если мы обратимся к тем случаям или ситуациям, в которых человек сталкивается с биологической судьбой, то перед нами возникнет вопрос, как далеко простирается свобода человека по отношению к органическому или как глубоко в физиологическое проникает власть его свободной воли. Таким образом, мы приблизимся к психофизической проблематике, не вступая, однако, в бесконечную дискуссию о том, зависит ли — и если зависит, то насколько — физическое тело человека от его душевно-духовной сферы и наоборот. Ограничимся тем, что противопоставим друг другу два красноречивых факта и прокомментируем их.

Психиатр Ланге рассказал о следующем случае: он знал однойцевых братьев-близнецов, которые в течение многих лет жили совершенно отдельно друг от друга. Почти в одно и то же время он получил от живущего в другом городе брата письмо, в котором в первый раз обнаружилась та же самая безумная идея, которая составляла содержание паранойи брата, по поводу которой он почти в то же самое время поступил на лечение к доктору Ланге. Так, общая предрасположенность обоих братьев, которые развились как однойцевые близнецы из одной и той же клетки, проявилась как судьба.

Должны ли мы подчиниться власти биологической судьбы? Можем ли мы перед лицом таких фактов, которые говорят о непреодолимой мощи органических сил, отказать им в уважении? Не

определяется ли судьба носителя предрасположенностей только лишь биологическим фактором; остается ли еще там место для формирования судьбы из свободы человеческого духа? На результатах наследственно-патологического исследования близнецов зиждется фаталистическое убеждение, имеющее силу внушения, которое опасно, потому что парализует волю к сопротивлению судьбе. Ибо *тот, кто считает свою судьбу решенной окончательно и бесповоротно, не в состоянии победить ее.*

И второй факт: в Венской клинике нервных болезней доктор Хофф и его сотрудник погружали пациентов в гипноз, чтобы изучить влияние эмоций на сопротивляемость человека болезням. Им внушались то радостные, то грустные переживания. В ходе этих экспериментов выяснилось, что агглюцинационный титр по отношению к бациллам тифа был несравненно выше, когда сыворотку крови брали в моменты радостного возбуждения, чем во время грустного настроения. Эти исследования также проливают свет на уменьшение силы сопротивления организма ипохондрически тревожного человека инфекционным болезням. Медицинские сестры, исполненные морального долга, которые работают в эпидемических госпиталях или даже в лепрозориях, в такой степени остаются не подверженными заражению, что до сих пор об этом говорят как о «чуде» или «сказке».

На мой взгляд, не нужно постоянно противопоставлять силу человеческого духа силе природы. И та и другая свойственны человеку, в нем все взаимосвязано. Ведь человек — гражданин нескольких государств, в жизни он постоянно находится в напряжении, в биполярном силовом поле. Если бы мы захотели сопоставить действие этих сил, то это привело бы к ничейному результату. Вечная борьба свободы человека в нем с его внутренней и внешней судьбой и составляет, собственно, его жизнь. Не желая ни в малейшей степени недооценить фактор судьбы, мы, врачи-психотерапевты, видим в ней все же, в конечном счете, лишь испытание для человеческой свободы. По эвристическим соображениям нам следовало бы делать вид, как будто граница свободного «могу» по отношению к продиктованному судьбой «должен» бесконечно удалена, — тогда мы, по крайней мере, сможем пойти так далеко, как это только возможно (Рудольф Аллерс).

Даже там, где физиологическое находится в теснейшей связи с психическим, в патологии мозга, физическое болезненное изменение само по себе не означает еще окончательного приговора судьбы. О мозге в этом смысле говорят, что он «пластичен»: так, известно, что в случае повреждения обширных частей мозга другие части этого органа берут заместительную функцию, так что рано или поздно функция может быть восстановлена. Американскому нейрохирургу Денди удалось даже оперативно удалить всю оболочку правого полушария головного мозга (у правши) без того, чтобы результатом этого стали какие-либо серьезные длительные душевные расстройства; вопросом остается лишь то, берется ли в расчет самими подобными больными или их родственниками длительная телесная слабость после таких операций, заключающаяся в параличе всей левой половины тела. Сегодня мы еще не знаем даже, не остаются ли неиспользованными целые участки большого мозга человека. Не установлено, действительно ли используются все клетки нервных узлов головного мозга. (Тот факт, что функцию поврежденных центров берут на себя другие клетки, говорит не в пользу этого.) Новейшие исследования выявили, что филогенетическое развитие большого мозга происходит скачкообразно, поскольку количество нервных узлов возрастает не постепенно, а неожиданно — каждый раз удваивается. Кто мог бы с уверенностью утверждать, реализовали ли мы, современные люди, все шансы, которые соответствуют современному уровню строения большого мозга человека? Ведь было бы логичным полагать, что развитие функций запаздывает по отношению к максимальным возможностям того или другого органа.

Биологическая судьба является для человеческой свободы лишь материалом, который надо еще преобразовать. В этом, с позиции человека, заключается ее последний смысл. Действительно, мы постоянно видим, как человек успешно встраивает ее в свое историческое или биографическое здание жизни. Мы постоянно встречаем людей, которым образцовым образом удалось преодолеть первоначальные ограничения их свободы, обусловленные биологически; преодолеть трудности, стоявшие вначале на пути их духовного развития. Способ организации их жизни сравним с художественным или спортивным достижением. С первым постольку, поскольку неподатливой биологической материи была придана нужная форма. С последним — в том смысле, в каком спортсмены сделали выражение «выложиться до конца» одним из наиболее часто и повседневно употребляемых. Каждый раз сделать все возможное — значит достичь цели, несмотря на все трудности конкретной ситуации, т. е. внешние и внутренние препятствия.

Вся человеческая жизнь с самого начала может стоять под знаком сопротивления фатальному биологическому гандикапу, представлять собой путь от трудного «старта» к единственному большому достижению. Нам известен мужчина; у которого вследствие заболевания головного мозга, перенесенного еще в чреве матери, были частично парализованы руки и ноги; его ноги

были такими хилыми, что он мог передвигаться только в коляске. До самой поздней юности он считался умственно отсталым и оставался безграмотным, пока наконец в нем не принял участие один ученый и не организовал для него занятия; в необычайно короткое время наш пациент изучил не только письмо, чтение, но и вузовские дисциплины — в тех областях, которые его особенно интересовали. Целый ряд выдающихся ученых и университетских профессоров соревновались за честь быть его личным учителем. У себя дома он несколько раз в неделю устраивал приемы, где вызывающим восхищение центром был он сам. Прекрасные женщины жаждали его благосклонности; из-за него между ними возникали сцены, скандалы, были даже попытки самоубийств. При всем этом мужчина был даже не в состоянии нормально говорить: его артикуляция также была вовлечена в болезненный процесс; потя от напряжения, с судорожным лицом, он вынужден был энергично бороться за техническое воспроизведение каждого отдельного слова. Какое же достижение представляет собой организация жизни этого человека, какой силой убедительности обладает она в качестве образца для наших больных, имеющих в среднем значительно более легкий старт, чем этот пациент, который, если бы все пошло лишь в соответствии с его «судьбой», с таким же успехом еще и сегодня мог бы влачить жалкое существование в известном заведении, чтобы однажды там умереть.

Психологическая судьба.

Теперь перейдем к обсуждению того, что мы назвали психологической судьбой человека и под чем мы понимаем то душевное, что противостоит человеческой свободе. Невротические больные склонны к слепой вере в судьбу в психологическом смысле и постоянно ссылаются на то, что направление, сила их влечений или слабость воли и характера предопределены судьбой. Невротик со свойственным ему фатализмом следует формуле: «Так есть — и таким это и останется»; и как раз в последней части этой формулы он оказывается неправ.

Я «хочу». Оно «вынуждает». Но человеческое Я никогда не бывает просто «вынуждаемо». Хождение под парусом заключается не в том, что лодку просто гонит ветром; искусство хождения под парусом начинается с того, что человек использует силу ветра в нужном ему направлении, так что он может даже направить свою лодку и против ветра.

Первоначальной слабости воли, вероятно, не существует; сила воли хотя и гипостазирована невротиком, но не является чем-то статическим, чем-то раз и навсегда данным, а является функцией: ясного осознания цели, честного решения и известной тренировки. Если человек, еще до того, как он попытается что-то сделать, будет постоянно думать о том, что попытка не удастся, она и не сможет удалиться; уже потому не сможет, что свою неправоту признают неохотно даже перед самим собой. Именно поэтому так важно во внутренней формулировке всякого намерения заранее исключить любой даже кажущийся второстепенным контраргумент; если кто-нибудь, например, говорит себе: «Я не хочу пить», то следует ожидать, что скоро появятся самые разные возражения, как например: «однако я должен» или «и все-таки я не смогу устоять» и т. д. Если же человек говорит себе просто, но неоднократно: «Нет, пить не буду — и точка», тогда он идет по верному пути. Поистине мудрый ответ дала одна больная шизофренией на вопрос о том, является ли она слабовольной: «Я слабовольна, когда хочу; а когда я не хочу, я не слабовольна». Эта психотичная пациентка могла бы, следовательно, преподать урок некоторым невротическим больным: человек склонен к тому, чтобы скрывать от самого себя свою собственную свободу воли за ее мнимой слабостью.

К тому же под влиянием положений индивидуальной психологии — неверно понимая их и неверно используя — невротические фаталисты ссылаются иногда и на то, что «сделали» из него воспитание и среда, на то, что они определили его судьбу и тому подобное. Такие люди хотят освободить себя от ответственности за слабость своего характера. Они принимают эту слабость как данность, вместо того чтобы поставить перед собой задачу самовоспитания. Одна больная, которая однажды после попытки самоубийства была доставлена в клинику нервных болезней, сказала психотерапевту, отклоняя его помощь: «Чего вы хотите от меня? Я — типичный «единственный ребенок» по Альфреду Адлеру». Как будто речь не идет как раз о том, чтобы освободиться от дурного типического, что есть в человеке. Правильно понятая этика индивидуальной психологии должна требовать от человека такого освобождения от типических ошибок и слабостей характера, которые могли быть ему привиты в том числе и воспитанием, чтобы по нему, в конце концов, больше никогда нельзя было бы заметить, что он «единственный ребенок» или что-то в этом роде.

«Закон» индивидуальной психологии, на который ссылалась цитируемая выше пациентка (как единственный ребенок), имеет лишь теоретическое значение; практически, экзистенциально он значим лишь настолько, насколько ему «позволяют» быть значимым. Ошибки воспитания нельзя устранить прощением, они устраняются только путем самовоспитания. Невротический фатализм означает бегство от ответственности, которая давит на человека своей неумолимостью и

единственностью, — бегство в типическое, в кажущуюся предназначенной судьбой принадлежность типу. Причем неважно, рассматривается ли тип, принадлежность к которому чувствует в себе человек, как тип характера, классовый или расовый тип, т. е., понимается ли он в смысле психологической, или биологической, или социологической обусловленности.

То, что духовная позиция человека обладает свободой не только по отношению к телесному, но еще и душевному (следовательно, он не должен ни в коем случае слепо склоняться перед своей психологической судьбой), становится яснее и проявляется убедительнее всего в тех случаях, когда речь идет о свободно выбранном поведении человека по отношению к болезненным душевным состояниям. Одна пациентка находилась в стационаре по поводу периодически повторяющихся эндогенных депрессией. Ввиду эндогенных компонентов ее болезни ей была предписана медикаментозная терапия, т. е. было начато лечение, имеющее соматическую основу. Однажды лечащий врач нашел ее плачущей в состоянии крайнего возбуждения. В результате короткой беседы выяснилось, что депрессия в данный момент была совсем не эндогенного, а психогенного характера, т. е. что заболевание в целом имело, таким образом, психогенные компоненты: больная плакала о том, что она так плаксива. Депрессия, таким образом, усилилась. К эндогенной депрессии добавился еще и психогенный компонент. Первоначальная депрессия имела эндогенную основу, была реакцией на эндогенное состояние. Ввиду факта реактивной депрессии была назначена дополнительная терапия, а именно психотерапия — в соответствии с наличием психогенных компонентов. Больной было предписано избегать — настолько, насколько это было возможно, — размышлять о своей депрессии, так как эти размышления могли только осложнить течение ее болезни. Пациентке посоветовали воспринимать свою депрессию как пробегающее по небу облако, которое проплывает мимо солнца и закрывает его на время от наших взглядов; но так же как солнце продолжает существовать и тогда, когда мы его не видим, продолжают существовать и ценности, даже если человек, страдающий от депрессии, в данный момент не в состоянии видеть их.

После того как больная после психотерапевтического сеанса «раскрылась», обнаружилась бедность существования человека, который чувствует себя сраженным судьбой рецидивирующих депрессий. Тогда было решено к психотерапевтическому лечению добавить еще и логотерапевтическое, чтобы показать больной, как именно факт обусловленных судьбой повторяющихся депрессивных состояний можно прекрасно использовать для того, чтобы призвать людей свободных в своей духовной позиции к восприятию душевных процессов — призвать их к единственно правильному поведению по отношению к ним: к осуществлению того, что мы назвали ценностями отношения. Несмотря на депрессивные состояния, пациентка со временем научилась не только видеть перед собой жизнь, полную личных задач, но и более того: видеть свою задачу также и в том, чтобы как-то справиться с этими депрессивными состояниями, подняться над ними. После этого экзистенциального анализа — а речь шла в данном случае именно о нем — наша пациентка вернулась к полноценной жизни, несмотря на повторяющиеся фазы эндогенной депрессии. И даже в периоды этих депрессий она вела жизнь, которая была более наполнена смыслом, чем до лечения (и даже — чем та, какую она, вероятно, вела бы, если бы не заболела). Невольно приходят на память те слова Гете, о которых я уже говорил, что это лучшая максима всякой психотерапии: «Если мы принимаем людей такими, какие они есть, то мы делаем их хуже; но если мы принимаем их такими, какими они должны быть, мы делаем их тем, чем они могли бы стать».

Во многих случаях душевных заболеваний возможное свободное духовное отношение больного к ним может быть реализовано лучше всего в форме примирения с судьбой. Ведь именно тщетная длительная борьба со свойственными живым существам состояниями ведет к дополнительной депрессии; тогда как тот, кто эти состояния без сопротивления просто принимает, скорее избавляется от них.

Одна пациентка, десятилетиями страдая тяжелыми слуховыми галлюцинациями, постоянно слышала ужасные голоса, которые язвительными замечаниями сопровождали все ее действия; эту пациентку однажды спросили, почему у нее, тем не менее, всегда хорошее настроение и что она могла бы сказать по поводу этих голосов, на что она ответила: «Я думаю, что то, что я слышу эти голоса, все-таки лучше, чем если бы я вообще ничего не слышала». Сколько искусства жизни и достижений (в смысле ценностей отношения) скрывается за этим отношением простого человека к этому мучительному симптому шизофрении! Разве не содержит эта забавная и мудрая реакция нашей пациентки здоровую долю духовной свободы по отношению к своей душевной болезни? Всякому психиатру известно, каким различным — в зависимости от разных установок духа — может быть поведение психически больных людей при одном и том же психозе. Один паралитик раздражен и настроен враждебно по отношению к людям, тогда как другой — добродушен, любезен и даже очарователен. Я хорошо помню следующий случай: в одном бараке концентрационного лагеря лежали вместе несколько больных с высокой температурой. Все

бредили, кроме одного, который старался избежать ночного бреда, намеренно удерживая себя ночью ото сна. А лихорадочное духовное возбуждение он использовал для того, чтобы мысленно реконструировать рукопись неопубликованной научной книги, которую у него отобрали по прибытии в лагерь, и в течение шестнадцати лихорадочных ночей он восстановил ее, делая в темноте барака на крошечных обрывках бумаги стенографические записи главных мыслей.

Социальная судьба.

Мы считаем, что отдельный человек во всех отношениях включен в социальный контекст. Он определен сообществом в двояком смысле: с одной стороны, он обусловлен всем социальным организмом, а с другой стороны, одновременно целенаправлен на этот совокупный организм. Таким образом, существует как социальная обусловленность индивидуума, так и его социальная целенаправленность. Что касается социальной обусловленности, следует подчеркнуть, что так называемые социологические законы никогда не детерминируют индивидуум полностью; следовательно, ни в коей мере не лишают его свободы воли. По отношению к социальной судьбе человек так же сохраняет поле свободных возможностей принятия решений, как и по отношению к своей биологической или психологической судьбе. Что же касается социальной направленности, то следует указать на то заблуждение, которые в области психотерапии свойственно прежде всего индивидуальной психологии: я имею в виду ту ошибочную точку зрения, согласно которой все ценностное поведение человека в конечном счете есть не что иное, как социально правильное поведение. Точка зрения, что ценностным может быть только то, что полезно обществу, не выдерживает никакой критики. Она привела бы к ценностному обеднению человеческого бытия. Можно легко доказать, что в мире ценностей существуют индивидуальные области ценностей, реализация которых может быть и даже должна быть осуществлена помимо и независимо от любого человеческого сообщества. Именно там, где речь идет о ценностях переживания, нет места пользе для сообщества. Ценностная полнота, которая открывается отдельному человеку в процессе художественных переживаний или созерцания природы, совершенно не зависит от того, получит ли когда-нибудь сообщество от этого пользу. При этом мы не упускаем из виду, что имеется еще ряд ценностей переживания, которые по своей сути остаются в области ценностей общественного переживания — происходит ли это на более широкой основе (товарищество, солидарность) или же на основе эротического партнерства, в форме сообщества двух людей.

Теперь, обсудив социальный момент человеческого бытия, который может представлять собой основу или целевую установку жизни, обратимся к теме социального как собственно к судьбе, т. е. чему-то более или менее неотвратимому, не подверженному влияниям, противодействующему воле человека, вызывающему его на борьбу. Итак, третья форма человеческой судьбы — социологическая. В следующей главе мы обсудим, проблемы, так сказать, активного взаимодействия с социальным окружением, причем социальное окружение является фактором, от которого отдельный человек при известных обстоятельствах страдает.

Для психологической оценки этого возможного страдания от обстоятельств общественной жизни последние десятилетия дали достаточно материала. После того как уже Первая мировая война обогатила психологию плена, когда наблюдения за поведением людей, находящихся в лагерях для военнопленных, побудили к анализу истории «болезни колючей проволоки», Вторая мировая война познакомила нас с последствиями «нервной войны». Жизнь большого количества людей в концентрационных лагерях внесла ощутимый вклад в науку в области психопатологии.

О психологии концентрационного лагеря.

В концентрационных лагерях человеческое бытие претерпело деформацию, которая приняла такие размеры, что трудно сказать, мог ли вообще сохранять достаточную объективность суждения наблюдатель, если он сам находился в лагере. Ведь с психологической точки зрения его способность судить себя или других должна тоже быть деформированной. В то время как посторонний наблюдатель, находясь на слишком большом расстоянии от происходящего, едва ли мог прочувствовать его остроту, тот, кто находился в центре этого тяжелого бытия, уже вжился в него! Другими словами, основная проблема состояла в том, что необходимо было иметь в виду, что тот масштаб, которым измерялась деформируемая действительность, мог быть сам деформирован.

Несмотря на эти сомнения, специалистами в области психопатологии и психотерапии был собран обширный специальный материал их собственных наблюдений и наблюдений других людей, и сумма их опыта и переживаний легла в основу теорий, в которых не столь уж многое выглядит субъективным и которые в основном отвечают истине.

В душевных переживаниях узника концлагеря можно различить три фазы: фазу поступления в лагерь, фазу собственно лагерной жизни и фазу после освобождения из лагеря. Первая фаза характеризуется так называемым шоком поступления. Эта форма реакции на непривычное, необычное окружение психологически не содержит ничего нового. Вновь поступивший узник подводит черту под своей прежней жизнью. У него отнято все его личное имущество, у него ничего не осталось, кроме, может быть, очков, которые ему разрешили оставить; ничто не связывает его больше с его прежней жизнью. Впечатления, которые хлынули на него, глубоко его трогают или чрезвычайно возмущают. Перед лицом постоянной угрозы жизни то один, то другой из них решается «бежать на проволоку» (на колючую проволоку вокруг лагеря, через которую пропущен ток высокого напряжения) или еще на какую-либо форму самоубийства. Эта фаза, обычно по прошествии уже нескольких дней или недель, сменяется второй фазой — глубочайшей апатией. Эта апатия — самозащитный механизм души. Что бы ни возбуждало, ни возмущало, ни приводило узника в глубочайшее отчаяние, что бы ему ни приходилось вокруг себя видеть, в чем бы ни приходилось самому участвовать вместе с другими — все это теперь наталкивается на своего рода броню, которой он окружил себя. Речь здесь идет о душевной приспособляемости к своеобразному окружению; то, что в нем происходит, попадает в сознание лишь отголосками, эмоциональная жизнь сведена до низшего уровня. Доходит до того, что некоторыми наблюдателями было названо возвратом к примитивности. Интересы сужаются до непосредственных, самых насущных потребностей. Все устремления сконцентрированы только на одном — пережить каждый конкретный день. Когда вечером узники, усталые, замерзшие и голодные, спотыкаясь бредут по заснеженным полям, подгоняемые капо, назад в лагерь, слышно, как тут и там со вздохом раздается: «Ну вот, еще один день прожит».

Все то, что выходит за рамки самых актуальных вопросов простого поддержания жизни, то, что находится по ту сторону ежедневного и ежечасного спасения жизни — как своей, так и другого узника! — рассматривается как роскошь. Все это обесценивается. Эта широкая тенденция обесценивания находит выражение в словах, которые чаще всего можно было услышать в лагерной жизни: «Всё — дерьмо!». В течение всей лагерной жизни почти все высокие интересы отступают на задний план (за исключением, разумеется, политических и — примечательным образом — религиозных интересов). В остальном же узник впадает в культурную зимнюю спячку.

Примитивность внутренней жизни в концентрационном лагере находит свое самое характерное выражение в мечтаниях узников. Чаще всего они мечтают о хлебе, сигаретах и хорошей теплой ванне. Беспреданно говорится о еде: если узники стоят на поверке перед уходом на работу и поблизости нет охраны, они обмениваются рецептами и рисуют в своем воображении, какими любимыми кушаньями они будут угощать друг друга, когда они однажды, освободившись, пригласят друг друга в гости. Лучшие из них мечтают о хорошей еде не ради нее самой, а о том, что наконец-то кончится недостойное человека состояние, когда он не может думать ни о чем другом, кроме еды. Лагерная жизнь, как правило, ведет к примитивности, а недоедание — к тому, что главным содержанием жизни становится инстинкт пропитания, вокруг которого кружатся все мысли и желания. Вечным голодом, по-видимому, объясняется и тот факт, что среди узников лагеря наблюдается ярко выраженное отсутствие интереса к любым темам сексуального характера.

Толкование душевных реакций на лагерную жизнь как возврата к более примитивной структуре проявления инстинктов оказалось не единственным. Е. Утиц охарактеризовал типичные изменения характера, которые, по его мнению, он наблюдал у узников лагеря как смещение от циклотимного к шизотимному типу характера. Он заметил, что у большинства узников лагеря проявлялась не только апатия, но и раздражительность. Оба аффекта абсолютно соответствовали психэстетической пропорции шизотимного темперамента по Кречмеру. Не говоря о всей сомнительности подобного изменения характера или доминантного изменения с психологической точки зрения, эта кажущаяся шизоидизация может быть объяснена намного проще: большое число узников страдало, с одной стороны, от недостатка питания, а с другой — от недостатка сна вследствие того, что из-за чрезмерной плотности заселения бараков узников донимали насекомые. Если недостаток питания делал людей апатичными, то хроническое недосыпание делало их раздражительными. К этим двум изначальным моментам добавлялись еще два других: отсутствие тех двух ядов цивилизации, которые в нормальной жизни смягчают апатию и раздражение: кофеина и никотина. Узникам лагеря было строго запрещено иметь кофе и табак. Этими соображениями можно объяснить лишь физиологические основы рассматриваемого «изменения характера», однако к перечисленным проблемам добавляется еще и психический фактор. Большинство узников страдало чувством неполноценности: эти люди были некогда «кем-то», а теперь с ними обращались хуже, чем с животными. Меньшинство же, которое, как клика, держалось вместе и пользовалось доверием капо, демонстрировало прямо-таки манию величия в миниатюре. Этой группе людей, которую с характерологической точки зрения можно назвать

«негативной» выборкой, была дана такая власть, которая была несоизмерима с их безответственностью. В любом столкновении между деклассированным большинством и меньшинством «возведенных в ранг», а для таких столкновений в лагере поводов было больше чем достаточно, находила выражение накопившаяся из-за упомянутых выше причин раздражительность узников.

Не говорит ли все это в пользу того, что тип характера формируется окружением? Не доказывает ли это, что человек не может уйти от судьбы, обусловленной его социальным окружением? Мы отвечаем — нет. Несет ли человек духовную ответственность за то, что происходит с ним, за то, что «делает» из него концентрационный лагерь? Мы отвечаем — да. Ведь даже в этой социально деформированной среде, несмотря на общественное ограничение своей личной свободы, у человека еще остается последняя свобода — свобода организовать и в этих условиях свое бытие. Есть достаточно примеров — часто героических, — которые доказывают, что человек и в таких условиях не обязательно должен оказаться сломленным кажущимися всемогущими закономерностями душевной деформации, вызванной концентрационным лагерем. Более того, везде, где прививаются сложившиеся типические свойства характера лагерного узника, где, следовательно, человек не устоял перед формирующими характер силами своего социального окружения, он уже позволил себе упасть в духовном отношении. Он не потерял свободу отношения к конкретной ситуации, он лишь от нее отказался. Что бы ни отняли у узника в первый час пребывания в лагере, до последнего вздоха никто не может отнять у него свободу относиться к своей судьбе так или иначе. А это «так или иначе» существует всегда. Вероятно, в каждом концентрационном лагере были отдельные люди, которые смогли преодолеть и подавить свою апатию и раздражительность, которые — жертвуя собой — ходили по баракам, то подбадривая добрым словом, то отдавая последние крохи хлеба.

Вся симптоматология концентрационного лагеря, которую мы попытались представить в ее кажущемся неотвратимым развитии, обусловленном физиологическими и душевными причинами, представляется нам открытой влиянию духовного. И в рамках психопатологии концентрационного лагеря существенным является то, о чем мы будем говорить в следующей главе о невротическом симптоме в общем плане: а именно то, что он является не только следствием соматического и выражением психического, но и способом существования — и этот момент является в конечном итоге решающим. Изменения характера человека в концентрационном лагере являются следствиями изменений физиологического состояния (голод, недосыпание и т. д.) и выражением психологических данностей (чувство собственной неполноценности и т. д.). Однако самое существенное здесь — духовная позиция, ибо в каждом случае человек сохраняет свободу и возможность решать самому в пользу или против влияния окружения. И если даже он мало пользуется этой свободой и возможностью — все равно она у него все-таки есть. Следовательно, люди, которые подпали под влияние условий и окружения концентрационного лагеря, могли и не поддаться этому влиянию. И если мы спросим себя, что же это были за причины, из-за которых эти люди настолько пали, чтобы поддаться влиянию окружения, то сможем ответить: они позволили себе пасть только потому, что потеряли свой духовный стержень, свою духовную опору. Но об этом следует поговорить более подробно. Уже Е. Утиц охарактеризовал образ жизни узников лагеря как временное существование. Эта характеристика требует, на мой взгляд, существенного дополнения: при этой форме человеческого существования речь идет не только о временности существования, но и о временности без определенной границы. До того как будущие узники вступали на территорию лагеря, они находились в душевном состоянии, которое можно сравнить лишь с тем, в каком находится человек перед тем, как вступить в потусторонний мир, из которого еще никто и никогда не возвращался (из некоторых лагерей, действительно, никто и никогда не возвратился). Со вступлением на территорию лагеря наступали конец неопределенности (относительно условий жизни там), но также и неопределенность конца. Ведь никто из узников не мог знать, как долго он будет находиться в лагере. День за днем, час за часом среди скученных масс людей плавало множество слухов, обещавших близкое освобождение, которые приводили, однако, ко все более и более глубокому или даже окончательному разочарованию. Неопределенность момента освобождения из плена порождает в лагерном узнике ощущение практически неограниченной продолжительности заключения. Со временем у узника возникает чувство отчужденности по отношению к миру за колючей проволокой; через колючую проволоку он видит людей и мир за ней такими, словно они не принадлежат к его миру, или, скорее, словно он сам не принадлежит к этому миру, словно он «отброшен» им. Мир свободных людей представляется его взору таким, каким он мог бы казаться, вероятно, покойнику с того света: нереальным, недоступным, недостижимо призрачным.

Бессрочность существования в концентрационном лагере ведет к возникновению чувства бесперспективности. Один из узников, который в составе длинной колонны брел к своему будущему лагерю, рассказал мне однажды, что у него тогда было чувство, словно он тащился за

своим собственным трупом. Так остро осознавал он, что его жизнь не имеет никакого будущего, что она вся уже прошла. Жизнь таких «живых трупов» становится преимущественно ретроспективным существованием. Их мысли витают постоянно вокруг одних и тех же деталей прошлого; банальнейшие мелочи предстают тогда в сказочном свете.

Однако без какого-то фиксированного ориентира на будущее человек не может существовать. Исходя из него организуется обычно все его настоящее, устремляясь к нему, подобно тому, как железная стружка устремляется к магниту. И наоборот — внутреннее время, время переживаний, теряет всю свою структуру, когда человек теряет свое будущее. Это приводит к презентативному прозябанию — подобно тому, как это изображено Томасом Манном в его «Волшебной горе», где речь идет о неизлечимом туберкулезе, при котором также не известен окончательный момент «конца». Или же это приводит к состоянию пустоты, бессодержательности и бессмысленности существования, которые мучают некоторых безработных; как показали психологические обследования безработных горняков, у них тоже возникает структурный распад переживания времени.

Латинское слово «finis» означает как «конец», так и цель». Когда человек перестает видеть конец какого-то временного отрезка своей жизни, он не может поставить себе никакой дальнейшей цели, никакой задачи; жизнь тогда теряет в его глазах всякое содержание и всякий смысл. И наоборот, стремление к какой-либо цели в будущем составляет ту духовную опору, которая так нужна узнику лагеря, так как только эта духовная опора в состоянии уберечь человека от падения под влиянием отрицательных сил социальной среды в том смысле, о котором шла речь выше, и, следовательно, уберечь его от полного отказа от самого себя.

Один узник, например, пытался пережить самые страшные ситуации лагерной жизни таким образом, что каждый раз представлял себе, что он стоит на кафедре и делает доклад перед многочисленной аудиторией, рассказывая именно о тех вещах, которые он переживает в данный момент. С помощью этого приема ему удавалось воспринимать вещи «*quadam sub specie aeternitatis*» (из перспективы вечного) и — выживать в этих условиях.

Душевный упадок из-за потери духовной опоры, полное погружение в тотальную апатию было среди лагерных узников столь же известным, сколь и внушающим страх явлением, которое развивалось зачастую так быстро, что уже в течение немногих дней вело к катастрофе. Такие узники просто оставались однажды лежать на нарах в бараке, отказывались идти на поверку и на распределение на работу, не заботились больше о добывании пищи, не ходили умываться — и никакие уговоры, никакие угрозы не в состоянии были вырвать их из апатии; ничто не пугало их больше, даже никакое наказание: они тупо и равнодушно позволяли делать с собой все что угодно — им было «все равно». Это безучастное лежание — часто в собственных экскрементах — означало угрозу жизни не только в дисциплинарном, но и в прямом смысле, что отчетливо видно на примере тех случаев, когда человека охватывало ощущение безысходности. Вот один такой пример: однажды один кто-то из узников рассказал своим товарищам, что он видел удивительный сон: он слышал голос, который разговаривал с ним и спросил его, нет ли чего-то, что он хотел бы знать о будущем, ибо он мог бы предсказать его. Узник ответил: «Я хотел бы знать, когда для меня кончится Вторая мировая война». Голос ответил: «30 марта 1945 года». Когда этот узник рассказывал о своем сне, было начало марта. Тогда он еще был полон надежд и стремлений. Но 30 марта все приближалось, и становилось все менее вероятным, что голос окажется прав. В последние дни перед предсказанным днем узник сильно нервничал, и 29 марта в лихорадочном состоянии он был доставлен в лагерный изолятор. В день, столь значимый для него, 30 марта — в день, когда страдания «для него» должны были бы закончиться, — он потерял сознание. На следующий день он умер.

Мы уже говорили, в каком широком плане иммунная система организма зависит от таких вещей, как жизненное мужество и жизненная усталость (например, по причине разочарования или обманутых надежд). Мы можем поэтому с полным правом предположить, что разочарование этого узника по поводу ложного предсказания голоса во сне привело к резкому снижению защитных сил организма.

В созвучии с нашим толкованием этого случая находится наблюдение, о котором рассказал однажды лагерный врач: узники лагеря, где он работал, загорелись надеждой, что Рождество 1944 года все они будут встречать дома. Рождество наступило, но сообщения газет были неутешительными. Что последовало за этим? В течении недели после Рождества в этом лагере произошли массовые случаи смертей, чего раньше никогда не бывало, — даже при таких обстоятельствах, как резкие изменения погоды, или ухудшение питания, или инфекционные заболевания, которые могли объяснить такой исход.

Ясно, что всякая попытка психотерапии в концентрационном лагере была возможна только тогда, когда она совпадала с решающим моментом духовной опоры, направленным на

определенную цель в будущем. На практике было совсем нетрудно взбодрить того или иного узника тем, чтобы нацелить его на будущее. В беседе с двумя узниками лагеря, отчаяние которых дошло уже до решимости пойти на самоубийство, выяснилась следующая параллель: оба были охвачены чувством, что им «нечего было больше ожидать от жизни» (и здесь было бы уместно применить то коперниковское выражение, которое мы уже обсуждали: после завершения жизни нельзя спрашивать, какой она имела смысл). Из разговора с ними я знал, что их жизнь требовала от них выполнения совершенно конкретных задач. Выяснилось, что один из узников концлагеря опубликовал несколько книг по географии, но еще не довел серию до конца; а у другого была за границей дочь, которая боготворила его. Одного ожидал его труд, а другого — человек. Следовательно, оба были в равной степени подтверждены в своей единственности и незаменимости, которые были в состоянии придать их жизни обязательный смысл, несмотря на страдания. В своей научной работе один был столь же незаменим, как и другой в любви его дочери.

Но и освобожденный узник нуждается в душевной поддержке. Неожиданное освобождение от духовного гнета таит в себе — с психологической точки зрения — большую опасность. То, что является угрозой в характерологическом отношении, есть не что иное, как душевный аналог кессоновой болезни. И тут мы подходим к третьей фазе, которую хотим лишь в общих чертах обсудить в рамках проблемы психологии лагерного узника. Что касается его реакции на освобождение из лагеря, то коротко можно сказать следующее: вначале ему все представляется как в прекрасном сне, он не смеет даже верить, что все это реально: ведь его уже разочаровал не один сон. Не мечтал ли он так часто о своем освобождении о том, как он вернется домой, обнимет свою жену, позовет своих друзей, сядет за стол и начнет рассказывать, рассказывать... о своих переживаниях, о том, как он тосковал по этому мгновению свидания и как часто видел во сне это мгновение, пока оно наконец не стало действительностью. Но вот раздаются три резких гудка, которые рано утром означают побудку, назойливо и грубо проникают ему в уши и вырывают его из сна, который только подразнил и обманул свободой. Но однажды все это выстраданное и желанное станет действительностью. Однако освобожденный находится пока что в плену своего рода чувства деперсонализации. Он не может по-настоящему радоваться жизни — ему это только еще предстоит, он разучился это делать. Если в первый день свободы действительность показалась ему прекрасным сном, то однажды таким же сном, но только кошмарным, покажется ему его прошлое. И он сам не сможет понять, как ему удалось выдержать этот ужас. Его охватывает сладостное чувство, что после всего того, что он пережил, ему ничего на свете не надо больше бояться — кроме своего Бога.

В концентрационном лагере многие узники вновь обрели веру в Бога и выстояли благодаря Ему.

Часть II. Психотерапия на практике.

О смысле страдания.

При обсуждении вопроса о смысле жизни мы самым общим образом разграничили три ценностные категории. Мы говорили о ценностях творчества, ценностях переживания и ценностях отношения. В то время как первая категория реализуется путем деятельности, ценности переживания реализуются путем пассивного восприятия мира (природы, искусства). Ценности отношения же реализуются там, где необходимо принять на себя что-то неотвратимое, посланное судьбой. Способ, которым человек берет на себя подобные тяготы, дает неограниченную полноту ценностных возможностей. Это означает, что не только в творчестве и в радости жизнь может быть осмысленной, но также и в страдании!

Такой ход мыслей совершенно чужд тривиальной этике успеха. Однако взгляд на повседневную оценку ценности и достоинства человеческого существования сразу же раскрывает ту глубину переживаний, в которой вещи сохраняют свою значимость совершенно независимо от любого результата вообще. Это царство внутреннего удовлетворения, несмотря на внешнее отсутствие успеха, становится по-настоящему доступным благодаря той перспективе, которая открывается нам через искусство. Здесь уместно вспомнить о таком произведении, как «Смерть Ивана Ильича» Л. Н. Толстого. В нем изображается буржуазное существование, глубокая бессмысленность которого становится ясной его носителю лишь непосредственно перед его неожиданной смертью. Но благодаря пониманию бессмысленности своего существования герой уже в последние часы своей жизни перерастает себя самого и достигает такого внутреннего величия, которое освещает

всю его предыдущую жизнь и делает ее глубоко осмысленной. Ведь может случиться и так, что жизнь получает свой последний смысл не только благодаря смерти — как у героя этой повести, — но и в самой смерти. Следовательно, не только жертвование собственной жизнью дает ей смысл, но еще и в своей обреченности она может наполниться смыслом.

Отсутствие успеха еще не означает отсутствия смысла. Это становится ясным, когда вспоминаешь, например, свою собственную прошлую жизнь в области любовных отношений. Если кто-нибудь спросит себя всерьез, готов ли был бы он вычеркнуть из своей прошлой любовной жизни переживания, полные страданий и неприятностей, он, вероятнее всего, ответит отрицательно: полнота страданий не была для него пустотой; напротив, в страдании он созрел, духовно вырос, оно дало ему больше, чем ему мог бы дать какой-нибудь эротический успех.

Человек вообще склонен к тому, чтобы переоценивать положительные или отрицательные признаки своих переживаний. Важность, которую он придает этим признакам, рождает в нем неоправданную жалостливость по отношению к своей судьбе. Мы уже видели, в каком разнообразном смысле человек «существует на свете не для удовольствия». Мы знаем также, что удовольствие совершенно не в состоянии дать смысл человеческой жизни. Раз оно не в силах этого сделать, то и недостаток удовольствия не может отнять у жизни смысл. И вновь искусство указывает нам способ, которым простое, непосредственное и ничем не стесненное переживание верно определяет содержание; стоит подумать лишь о том, сколь незначителен для художественного содержания вопрос о том, написана ли мелодия в мажорной или минорной тональности. В творчестве реализуются творческие ценности, в переживании — ценности переживания, в страдании — ценности отношения. Страдание, однако, имеет, кроме того, и имманентный смысл. Парадоксальным образом язык сам подводит нас к этому смыслу: мы страдаем от чего-либо потому, что мы «не можем этого выносить» — следовательно, потому, что мы не хотим признавать это реальным и значимым. Столкновение с данным нам судьбой является последней задачей — задачей страдания. Страдая от какого-либо жизненного обстоятельства, мы внутренне отворачиваемся от него, создаем дистанцию между своей личностью и этим обстоятельством. Пока мы страдаем от состояния, которого не должно быть, мы находимся в напряжении между фактическим бытием, с одной стороны, и бытием, которое должно быть, — с другой. Это же можно сказать и о человеке, который впадает в отчаяние от самого себя: именно из-за факта своего отчаяния он уже не имеет никакого основания для него, так как он оценивает собственную реальность по мерке идеального; тот факт, что он вообще увидел ценности (пусть и оставшиеся нереализованными), уже предполагает определенную ценность в самом этом человеке. Он не смог бы вообще судить самого себя, если бы он уже заранее не обладал достоинствами и полномочиями человека, который осознал соотношение должностующего и фактического бытия. Страдание создает, следовательно, плодотворное напряжение, заставляя человека чувствовать то, чего не должно быть как такового. В той мере, в какой он идентифицирует себя с данным, он приближается к данному и отключает напряжение между бытием и должностующим бытием. Так открывается в эмоциях человека глубокая мудрость, которая важнее всякой рациональности и даже противоречит рациональной полезности. Понаблюдаем, например, за эмоциями печали и раскаяния. С утилитарной точки зрения, обе должны казаться бессмысленными, так как «здоровый смысл» говорит о том, что бессмысленно и бесполезно оплакивать что-либо безвозвратно утерянное или каяться в чем-то непоправимом. Но для внутренней жизни человека печаль и раскаяние имеют глубокий смысл. Печаль о человеке, которого мы любили и потеряли, позволяет печалющемуся как-то жить дальше, а раскаяние виновного позволяет ему освободиться от вины и этим в какой-то мере искупить ее. Предмет нашей любви или нашей печали, который объективно, в эмпирическом времени, пропал, субъективно, во внутреннем времени, сохраняется: печаль оставляет его в настоящем. Раскаяние же, как показал Шелер, способно уничтожить вину: хотя вина и не снимается с виновного, но сам виновный поднимается путем своего морального возрождения. Эта возможность сделать плодотворным происшедшее не находится во внутренней жизни в противоречии с ответственностью человека, так как чувство вины предполагает ответственность. Однако человек ответственен перед лицом того факта, что он не может вернуть назад ни одного шага, который он сделал в жизни; любое решение, как самое малое, так и самое большое, остается окончательным. Ничего нельзя вычеркнуть из того, что он сделал и чего он не сделал. Сказанное лишь на поверхностный взгляд находится в противоречии с тем, что человек внутренне — в акте раскаяния — может дистанцироваться от какого-либо деяния и, следовательно, в совершении этого акта раскаяния (т. е. во внутренней жизни) может сделать происшедшее во внешней жизни в моральном отношении как бы не имевшим места.

Шопенгауэр, как известно, полагал, что человеческая жизнь балансирует между нуждой и скукой. В действительности и то, и другое имеет глубокий смысл. Что ведет к скуке? Бездеятельность. Деятельность существует не для того, чтобы избежать скуки, но скука

напоминает о том, чтобы мы избегали ничегонеделания и обратились к смыслу нашей жизни. Жизненная борьба держит нас в «напряжении», так как смысл жизни по мере выполнения задач меняется, то исчезая, то появляясь вновь; это «напряжение» является, следовательно, существенно отличным от того, к которому стремится невротическая жажда ощущений или истерическая погоня за раздражителями.

Смысл жизни также заключается в напоминании. Уже на биологическом уровне боль является бдительным сторожем. В области душевно-духовного она выполняет аналогичную функцию. То, от чего страдание должно уберечь человека, — это апатия, душевная вялость. Пока мы страдаем, мы остаемся душевно живыми. В страдании мы даже зреем, вырастаем в нем — оно делает нас богаче и сильнее. Раскаяние, как мы уже видели, делает внешнее происшествие как бы произошедшим во внутренней истории (в моральном смысле); печаль позволяет продолжать существовать прошлому. Следовательно, и печаль, и раскаяние в какой-то степени исправляют прошлое. Но этим они решают одну проблему, в противовес отвлечению и оглушению: человек, который пытается отвлечься от несчастья или оглушить себя, не решает проблемы, не устраняет несчастье из мира; то, что он устраняет из мира, — это скорее лишь следствие несчастья, лишь состояние неудовольствия. Путем отвлечения или оглушения он делает себя «ничего не знающим», он пытается бежать от действительности, спасаясь бегством в состояние опьянения. Этим он совершает субъективистскую ошибку, действуя так, словно вместе с заглушаемым эмоциональным актом из мира устраняется и предмет эмоции; словно то, что изгоняется в неизвестность, тем самым изгоняется в нереальность. Но как акт простого наблюдения не порождает предмет, так и попытка не замечать предмет не уничтожает его. Точно так же подавление печали не отменяет смысла того, что оплакивают. Здоровое чувство печальющегося в действительности имеет обыкновение противиться тому, чтобы принимать снотворные средства «для того, чтобы ночи напролет не плакать»; скорбящий может возразить на банальное предписание снотворных средств: благодаря тому, что он будет лучше спать, покойный, которого оплакивают, не будет разбужен. Смерть — эта парадигма неизбежного — не будет, следовательно, ни в коем случае отменена путем изгнания в область незнаемого. Как глубоко коренится в человеке понимание смысла эмоционального, видно из следующего факта: есть виды меланхолий, где симптоматологически на переднем плане находится не печаль, как обычно, а ее отсутствие; при этом пациенты жалуются как раз на то, что они не могут печалиться, что они не могут выплакаться, что они эмоционально холодны и внутренне омертвели: речь здесь идет о случаях так называемой *Melancholia anaesthetica*. Кому известны такие случаи, тот знает, что вряд ли существует большее отчаяние, чем отчаяние этих людей по поводу того, что они не могут испытывать печаль. Эта парадоксальность лишней раз доказывает, в какой степени принцип удовольствия является лишь искусственной психологической конструкцией, а не феноменологическим фактом; человек в действительности всегда стремится быть душевно «живым», испытывая радость или печаль, а не погружаться в апатию. Парадоксальность того, что страдающий *Melancholia anaesthetica* страдает от неспособности к страданию, является, следовательно, лишь психопатологической парадоксальностью; в экзистенциальном анализе она находит свое решение, так как в анализе страдание предстает как составная часть жизни, как ее неотъемлемая часть. Страдание, нужда и лишения — такие же части жизни, как судьба и смерть. Все это невозможно отделить от жизни, не разрушая ее смысл. Отделить от жизни нужду и смерть, судьбу и страдание означало бы отнять у жизни образ и форму. Лишь под тяжелыми ударами судьбы и в горниле страданий жизнь приобретает форму и образ.

Следовательно, смысл судьбы, которую человеку суждено выстрадать, состоит, во-первых, в том, чтобы обрести свой образ, и, во-вторых, в том, чтобы быть принятой как данность, если это необходимо. Однако мы не должны забывать, что не следует слишком рано складывать оружие, не следует слишком рано признавать какой-либо факт посланным судьбой и склоняться перед ней. Лишь тогда, когда у человека нет больше никакой возможности реализовать творческие ценности, если он действительно не в состоянии сформировать судьбу, лишь тогда имеет смысл «нести свой крест». Сущность ценности отношения состоит в том, как человек подчиняется неотвратимому; предпосылка для подлинной реализации ценностей отношения появляется тогда, когда речь действительно идет о неотвратимом, о том, что Брод называет «благородным несчастьем» (противопоставляя «неблагородному несчастью», которое является не собственно судьбой, а скорее расплатой за дурные поступки).

Так или иначе, каждая ситуация предлагает шанс реализации ценностей, идет ли речь о ценностях творчества или о ценностях отношения. «Нет положения, которое нельзя было бы облагородить путем достижения или терпения» (Гете). Можно сказать, что и в терпении есть своего рода достижение; если, конечно, речь идет о настоящем терпении, о терпении по отношению к судьбе, которую нельзя изменить никакими поступками или бездействием. Лишь в настоящем терпении есть достижение, лишь это неотвратимое страдание является осмысленным.

Когда несколько лет назад награждались за высочайшие достижения английские бойскауты, то награды получили три мальчика, которые лежали в госпитале по поводу неизлечимых болезней, но оставались мужественными и стойко переносили свои страдания. Их страдание было признано более высоким достижением, чем достижения, в более узком смысле слова, других бойскаутов.

«Жизнь — это не нечто, а всегда лишь возможность чего-то». Эти слова Хейбеля подтверждает альтернативная возможность или воплотить данную судьбой (т. е. изначально и само по себе неотвратимое) в смысле реализации ценностей творчества, или, в том случае, когда это сделать невозможно, отнестись к судьбе так, чтобы даже и в страдании содержалось человеческое достижение. Когда мы говорим: болезни дают человеку «возможность страдания», это звучит довольно странно. Если мы, однако, поймем «возможность» и «страдание» в вышеназванном смысле, то эта фраза не будет казаться такой уж туманной. Прежде всего потому, что между болезнью — в том числе и душевной — и страданием следует делать принципиальное различие. Не только потому, что человек может быть больным и не «страдать»; а потому, что существует страдание, лежащее вне всякой болезни, просто человеческое страдание, которое по своей сути является частью человеческой жизни. Следовательно, может случиться так, что экзистенциальный анализ должен будет помочь человеку стать способным страдать, тогда как, например, психоанализ хочет лишь сделать его способным к наслаждению или способным к успеху. То есть существуют ситуации, при которых человек может реализоваться лишь путем подлинного страдания и лишь в нем. А «возможность чего-то», которая означает жизнь, может быть упущена также и в случае возможности подлинного страдания, т. е. реализации ценностей отношения. Теперь мы понимаем, почему Достоевский сказал, что он боится лишь одного: быть недостойным своей муки. Давайте оценим и мы, какое достижение заключается в страдании больных, которые борются за то, чтобы быть достойными своей муки.

В связи с этим я хотел бы рассказать о весьма поучительном случае. Один духовно высокоразвитый человек в молодые годы внезапно был вырван из активной трудовой деятельности после того, как достаточно быстро развивающийся паралич спинного мозга (по причине туберкулеза позвоночника) привел к полному параличу ног. Врачи обсуждают возможность операции. Для консультации приглашается один из самых известных нейрохирургов Европы. Но его прогнозы пессимистичны, и он отклоняет операцию. Об этом сообщает один из друзей в письме к подруге больного, на вилле которой он находится. Во время завтрака хозяйки виллы с больным гостем ничего не подозревающая горничная передает ей письмо. О том, что произошло затем, пациент рассказывает в своем письме другу; приведу некоторые отрывки из этого письма: «...Еве ничего не оставалось делать, как дать мне прочитать письмо. Так я узнал о неутешительном прогнозе, сделанном профессором. Дорогой друг, я вспоминаю фильм «Титаник», который я видел несколько лет назад. Больше всего мне запомнилась сцена, когда парализованный инвалид, сыгранный Фрицем Кортманом, читая «Отче наш», готовит к смертному часу маленькую группу людей, которым была уготована эта судьба, в то время как судно уже тонет и вода поднимается все выше и выше. Я пришел домой из кино потрясенный. Я думал, какой это должен быть подарок судьбы — сознательно идти навстречу смерти. Ну вот и моя судьба предоставила мне эту возможность. Мне позволено еще раз испытать свой боевой дух; но в этой борьбе с самого начала речь будет идти не о победе, а о последнем напряжении сил, о последнем гимнастическом упражнении, так сказать... Я хочу выносить боль без наркотиков — пока это возможно. «Битва на потерянной позиции?» Этого выражения вообще не должно существовать. Значение имеет только сама борьба... Не может быть никаких потерянных позиций... Вечером мы играли «Четвертую» Брукнера. Во мне все было исполнено струящейся благодати. — В остальном я занимаюсь ежедневно математикой и отнюдь не впал в сентиментальность».

В другом случае болезнь и близость смерти мобилизовали последнее в человеке, который до этого провел свою жизнь в «метафизическом легкомыслии» (Шелер) и прошел мимо своих лишь ему одному уготованных возможностей. Речь идет об одной молодой женщине, довольно избалованной жизнью, которая совершенно неожиданно попала в концентрационный лагерь. Там она заболела и слабела день ото дня. За несколько дней до смерти она сказала: «Я благодарна своей судьбе за то, что она меня так крепко ударила. В моем прошлом буржуазном существовании я была, безусловно, слишком безвольна». Приближение смерти ее не страшило. С кровати в комнате лагерного изолятора, где она лежала, через окно можно было видеть цветущий каштан. «Это дерево — мой единственный друг в моем одиночестве, с ним я разговариваю». Что это было — галлюцинации, или она бредила? Ведь она же имела в виду, что каштан также и «отвечал» ей. Но никаких признаков бреда не было. Но что же это был за странный «разговор двоих» — что «сказало» цветущее дерево умирающей женщине? «Оно сказало мне: Я здесь — я здесь — я жизнь, вечная жизнь».

Виктор фон Вайцекер утверждал, что больной как страдающий в каком-то смысле превосходит врача. Эта мысль пришла мне на ум, когда я покидал эту женщину. Врач, которой достаточно

хорошо понимает тонкости ситуации, не может подходить к неизлечимо больному или умирающему без определенного ощущения стыда: ведь, будучи врачом, он оказался бессильным вырвать у смерти эту жертву; пациент же в данном случае — это человек, который мужественно противостоит судьбе, принимая ее в тихом страдании и совершая этим в метафизическом смысле настоящее достижение.

О смысле труда.

Не следует, как мы уже говорили, задавать вопрос о смысле жизни; на него следует отвечать, причем отвечать каждый раз не словами, а делами. Кроме того, этот ответ должен соответствовать конкретности ситуации и личности, вобрать в себя эту конкретность. Верным ответом будет, таким образом, деятельный ответ в его повседневной конкретности, так как повседневность — это конкретное пространство человеческой ответственности.

В рамках этого пространства каждый человек незаменим и неповторим. Значение, которое имеет осознание своей единственности и неповторимости, мы уже обсудили. Мы видели, исходя из каких посылок экзистенциальный анализ работает на осознание ответственности, но одновременно мы видели и то, как сознание ответственности вырастает прежде всего на основе осознания конкретной личной задачи, «миссии». Не видя перед собой уникального смысла своего неповторимого бытия, человек оказывается в трудных ситуациях бессильным. Его можно сравнить с альпинистом, которым, попав в густой туман и не имея цели перед глазами, оказывается под угрозой опасной для жизни усталости. Но стоит только засветиться какому-нибудь огоньку в тумане, как он вновь обретает силы и бодрость. Какому альпинисту не знакомо это чувство безграничной усталости, когда он висит «на стене» и не знает, находится ли он на верном маршруте, пока не увидит вдруг «выход». И вот, когда до вершины остается несколько метров, он вновь обретает силы и бодро взбирается дальше.

До тех пор, пока творческие ценности или их реализация находятся на переднем плане жизненных задач, область их конкретного воплощения совпадает в основном с профессиональной деятельностью. Работа представляет собой то поле, на котором уникальность индивидуума находится во взаимоотношении с сообществом и получает, таким образом, смысл и ценность. Эти смысл и ценность присущи, однако, достигаемому результату (как результату для сообщества), но не конкретной профессии как таковой. Следовательно, нельзя сказать, что лишь какая-то определенная профессия позволяет человеку реализовать свои возможности. Ни одна профессия сама по себе не делает человека счастливым. И если многие, преимущественно невротично настроенные, люди утверждают, что они чувствовали бы себя реализованными, если бы у них была другая профессия, то здесь, видимо, речь идет о неверном понимании смысла профессиональной деятельности или о самообмане. В тех случаях, когда конкретная профессия не приносит чувства удовлетворения, вина лежит на человеке, а не на профессии. Профессия сама по себе еще не делает человека незаменимым и неповторимым; она лишь дает для этого шанс.

Одна пациентка сказала мне однажды, что она считает свою жизнь бессмысленной и поэтому не хочет выздоравливать; однако, по ее мнению, все было бы прекрасно, если бы она имела профессию, которая приносила бы ей удовлетворение; если бы она, например, была врачом или медицинской сестрой или химиком, который делает какие-нибудь научные открытия. Я попытался объяснить этой больной, что дело ни в коем случае не в профессии, а в том, чего удалось в ней достичь; все, что составляет индивидуальное и специфическое, единственное и неповторимое нашего существования, находит свое выражение в работе и делает таким образом нашу жизнь осмысленной — или этого не происходит.

Как это реализуется, например, в профессии врача? Что дает смысл его действиям? То, что он действует по правилам врачебного искусства? То, что он в том или другом случае предписывает инъекции или медикаменты? Искусство врача отнюдь не состоит в том, чтобы действовать только по правилам врачебного искусства. Профессия врача дает человеку лишь рамку постоянных возможностей реализовать себя посредством личных профессиональных достижений. То, что врач делает в своей работе сверх своих чисто врачебных обязанностей, лично от себя как человек — это и составляет смысл его работы, делает его незаменимым. Ведь кто бы ни делал инъекции — он или кто-либо из его коллег, — все, в конечном счете, будет сводиться к одному и тому же. И лишь там, где он действует за рамками профессиональных предписаний, за рамками профессионально «положенного», лишь там и начинается настоящая, личная, единственно дающая удовлетворение работа. А как обстоит дело с работой медицинских сестер, которой так завидует моя пациентка? Они кипятят шприцы, выносят судна, меняют больным постель — все

это очень нужные вещи, которые, однако, сами по себе не могут принести удовлетворения; но там, где сестра делает нечто большее, выходящее за рамки положенного ей минимума, что-то лично от себя, находя, например, участливое слово для тяжелобольного, — лишь там возникает шанс дать жизни смысл, исходящий из профессии. Этот шанс дает любая профессия, если только работа понимается правильно. Незаменяемость и необходимость, единственность и неповторимость заключены именно в человеке, в том, *как* он создает, а не в том, *что* он создает. Кроме того, пациентка, которая не находила смысла в своей жизни, так как не имела желанной профессии, могла бы реализовать себя и вне профессии — в личной жизни, например, где она могла бы выразить свою единственность и неповторимость как любящая и любимая, как супруга и мать, которая во всех жизненных отношениях является незаменимой и единственно необходимой для мужа и детей. Естественное отношение человека к своей профессиональной деятельности как к возможному полю реализации ценностей творчества и уникальной самореализации претерпевают во многих отношениях искажение из-за господствующих условий труда. Здесь речь идет прежде всего о людях, которые жалуются на то, что они по 8 или более часов в день работают на предпринимателя, выполняя на конвейере одно и то же движение или одно и то же нажатие рычага на прессе — чем обезличеннее, чем в большем соответствии норме, тем лучше. При таких обстоятельствах работа, конечно, может восприниматься только лишь как средство для добывания денег, необходимых для собственного существования. Это собственное существование начинается в этом случае лишь в свободное время, его смысл лежит в его свободном личном наполнении. При этом мы не должны забывать, что есть люди, работа которых делает их настолько усталыми, что они после работы замертво валятся на постель, не в силах предпринять что-либо еще; свое свободное время они могут наполнить лишь тем, что превращают его в пассивный отдых: они не в состоянии делать ничего более разумного, чем спать.

Сам же предприниматель, работодатель, в свободное время тоже не всегда «свободен»; и он не остается незатронутым упомянутыми выше искажениями естественных трудовых взаимоотношений. Кому не знаком тот тип людей, которые преуспевают в добывании денег и в постоянной погоне за ними забывают саму жизнь? Зарабатывание денег становится для них самоцелью. У такого человека много денег, и он знает, на что их потратить, но он совершенно не знает, для чего же, собственно говоря, он живет. Добывание денег превалирует над самой жизнью; кроме получения все большей прибыли, он не знает больше ничего — ни искусства, ни даже спорта; он спускает деньги в азартных играх, в связях с женщинами, в казино, где деньги, «поставленные на деньги», представляют для него последние смысл и цель.

Невроз безработицы.

Экзистенциальное значение профессии становится наиболее очевидным, когда профессиональная деятельность исчезает совсем, т. е. в случае безработицы. Психологические наблюдения над безработными людьми побудили психотерапевтов выдвинуть понятие «невроз безработицы». На первое место по симптоматике здесь удивительным образом выступает не депрессия, как можно было бы предположить, а апатия. Безработные становятся все более безучастными ко всему, и их инициатива все более и более сменяется апатией. Эта апатия не безопасна. Она делает этих людей неспособными ухватиться за руку помощи, которую им протягивают. Безработный воспринимает незаполненность своего времени как внутреннюю незаполненность, как незаполненность своего сознания. Он чувствует себя ненужным, так как не занят любимым делом. Он начинает думать, что его жизнь больше не имеет никакого смысла. Но так же как в биологии имеются так называемые вакантные разрастания, так и в области психологии имеются аналогичные явления. Безработица становится питательной почвой для развития невротических заболеваний.

Апатия как главный симптом невроза безработицы является, однако, не только выражением душевного вакуума; она, как всякий невротический симптом, является также и следствием физического состояния (в данном случае чаще всего — физического истощения организма). У тех людей, у которых невроз был уже и раньше и благодаря, так сказать, привходящему фактору безработицы обострился, — факт потери работы входит как материал в невроз и «невротически перерабатывается». Безработица в таких случаях является для невротика желанным средством, чтобы оправдать себя за все неудачи жизни, т. е. не только в профессиональной сфере. Она служит, так сказать, козлом отпущения, на которого взваливается вся вина за «испорченную» жизнь. Собственные ошибки интерпретируются как predetermined судьбой и как следствие безработицы. «Да, если бы я не был безработным, то все было бы иначе, тогда все было бы хорошо и прекрасно», заверяют эти невротические типы; жизнь безработного диктует им определенный образ жизни и способствует их деградации. Они полагают, что от них нельзя ничего требовать, но и сами они ничего не требуют от себя. Им кажется, что судьба безработного освобождает их от ответственности перед другими так же, как и от ответственности перед самими

собой, освобождает их от ответственности перед жизнью. Все неудачи во всех областях бытия сваливаются на эту судьбу. Вероятно, удобно думать, что ботинок жмет лишь в одном-единственном месте. Если объяснять все лишь одной причиной и если, к тому же, этой причиной является кажущаяся судьбой данность, то это обстоятельство имеет то преимущество, что человеку представляется, будто он ничего не потерял и что и дальше не нужно делать ничего другого, как ждать воображаемого мгновения, когда все, в силу той же причины, может быть, как-нибудь и наладится.

Как и всякий невротический симптом, невроз безработицы имеет следствие, выражение и средство; в своей последней и решающей перспективе, он оказывается равным любому другому неврозу как модус существования, как духовная позиция, как экзистенциальное решение. Но невроз безработицы вовсе не диктуется неизбежной судьбой, как это представляется невротикам. Безработный отнюдь не должен быть обречен на невроз безработицы. И в данном случае можно сказать, что за человеком остается решение, подчинится ли он душевно силам социальной судьбы, или нет. Есть немало примеров, которые доказывают, что не всегда безработица однозначно формирует и определяет характер. Наряду с характерным невротическим типом есть еще и другой тип безработных. Это люди, которые, потеряв работу, также вынуждены жить в неблагоприятных экономических условиях, но тем не менее они остаются свободными от невроза безработицы, не производят впечатления ни апатичных, ни угнетенных людей, более того, даже сохраняют известную веселость. В чем же тут дело? Если присмотреться к их жизни повнимательнее, то выяснится, что эти люди хотя и не профессионально, но разносторонне заняты. Часто это — добровольные помощники в каких-нибудь общественных организациях, почетные функционеры в учреждениях народного образования, неоплачиваемые сотрудники в молодежных союзах; они слушают интересные доклады и хорошую музыку, они много читают и обсуждают со своими товарищами прочитанное. Избыток свободного времени они используют осмысленно и наполняют свои время и жизнь многообразным содержанием. Часто в их желудке урчит так же, как и у представителей другого, ставшего невротическим, типа безработного, и все же они сохраняют оптимизм и далеки от отчаяния. Они сумели дать своей жизни смысл и содержание. Они поняли, что смысл человеческой жизни раскрывается не только в профессиональной деятельности, что можно, будучи безработным, не жить бессмысленно. Для них смысл жизни не исчерпывается фактом профессионального трудоустройства. Ведь то, что делает безработных апатичными и в конечном итоге лежит в основе невроза безработицы, — это ошибочное мнение, что профессиональная деятельность является единственным смыслом жизни; ложная идентификация профессии с жизненной задачей, к которой призван человек. Это приравливание одного к другому ведет именно к тому, что безработный страдает от ощущения ненужности и бесполезности.

После всего сказанного становится ясным, как мало обусловлена судьбой душевная реакция на безработицу, какое обширное поле деятельности остается здесь для духовной свободы человека. С точки зрения предпринятой нами попытки экзистенциального анализа невроза безработицы, одна и та же ситуация безработицы по-разному осмысливается разными людьми, или, лучше сказать, одни позволяют социальной судьбе накладывать свой отпечаток на их характер и поведение, формируя их в душевном плане, в то время как другие сами выстраивают свою судьбу. Каждый безработный в отдельности еще может, следовательно, решить, к какому из этих двух типов он будет принадлежать — к типу внутренне оптимистичных или ставших апатичными безработных.

Итак, невроз безработицы не является непосредственным следствием безработицы. Более того, иногда мы даже видим, что безработица является следствием невроза. Ведь понятно, что невроз имеет обратное влияние на социальную судьбу и экономическую ситуацию страдающего от нее. При прочих равных условиях выстоявший безработный, в противовес ставшему апатичным, имеет больше шансов в конкурентной борьбе и скорее может получить рабочее место. Обратное воздействие невроза безработицы — не только социальное, но и витальное, поскольку структурированность, которую приобретает духовная жизнь благодаря своему характеру задачи, сказывается вплоть до биологического уровня. С другой стороны, внезапная потеря внутренней структуры, которая наступает вместе с переживанием бессодержательности и бессмысленности жизни, также ведет к органическим явлениям упадка. Психиатрия знает, например, типичный психофизический упадок в форме быстро наступающих явлений старения у людей, которые ушли на пенсию. Даже у животных встречается аналогичное явление: известно, например, что цирковые животные, перед которыми ставят определенные задачи, имеют в среднем более высокую продолжительность жизни, чем те, которые содержатся в зоологических садах и не «заняты» ничем. Из того факта, что невроз безработицы не связан напрямую с безработицей, вытекает возможность психотерапевтического вмешательства. Кто же, напротив, высокомерно полагает, что с психологической точки зрения на этом пути с безработицей не справиться, того следует отослать

к нередко встречающемуся, особенно среди молодых безработных, мнению: то, чего мы хотим, — это не деньги, а содержание жизни. Однако психотерапия в более узком, нелоготерапевтическом смысле (например, с применением глубокого психологического воздействия) была бы в таких случаях бесперспективной. Все, о чем было сказано выше, — это, скорее всего, экзистенциальный анализ, который способен указать безработному путь к своей внутренней свободе и, вопреки его социальной судьбе, подвести его к осознанию той ответственности, которое поможет ему придать своей трудной жизни содержание и смысл.

Мы уже говорили, что как безработица, так и профессиональная деятельность могут быть употреблены в качестве средства для достижения невротической цели. Однако это средство для достижения цели следует отличать от той верной установки, которая состоит в том, что целью работы как средства является осмысленная жизнь. Человеческое достоинство не позволяет, чтобы человек был низведен до простого элемента рабочего процесса, до средства производства. Способность работать — это еще не все, она не является ни достаточным, ни необходимым основанием для того, чтобы наполнить жизнь смыслом. Один человек может быть работоспособным и, тем не менее, вести неполноценную, не наполненную смыслом жизнь; а другой может быть неработоспособным и, несмотря на это, наполнить свою жизнь смыслом. То же самое можно сказать и о способности человека наслаждаться. Человек ищет смысл своей жизни преимущественно на каком-то определенном поле и, следовательно, в какой-то мере ограничивает свою жизнь и самого себя; вопрос состоит лишь в том, действительно ли нужно вводить такое ограничение, или, как в случае с неврозом, оно не является необходимым. Другими словами совершенно не следует отказываться от способности к наслаждению в пользу способности работать или наоборот. Таким невротическим людям можно было бы адресовать слова героини романа Алисы Люткенс «Я не приеду к ужину»: «Если любви нет, работа становится суррогатом, если нет работы, любовь становится опиумом».

Невроз выходного дня.

Полнота профессиональной деятельности не идентична смысловой полноте творческой жизни. Невротик пытается подчас спастись от большой жизни бегством в профессиональную деятельность. Однако подлинная бессодержательность и пустота его жизни обнаруживаются сразу же, как только его профессиональная активность на какое-то время прерывается: а именно в выходные дни! Кому не известно безутешное выражение лиц людей, которые в указанные дни прервали профессиональную деятельность и этим самым оставили без употребления самих себя (если они к тому же упустили, например, свидание или не достали билетов в кино). Но человек, который является только человеком-рабочим и ничем другим, крайне нуждается в суете выходных дней, чтобы чем-то заполнить внутреннюю пустоту, поскольку именно в выходные, когда останавливается темп рабочей недели, бедность содержания его жизни становится очевидной. И создается впечатление, что человек бежит со скоростью, на какую только способен, чтобы не заметить бесцельности собственной жизни. Он пытается убежать от себя самого — но напрасно, потому что в выходные дни перед ним наиболее ярко предстают бесцельность, бессодержательность и бессмысленность его существования.

Чего он только не предпринимает, чтобы чем-то заполнить выходные! Он бежит в танцевальный клуб — там гремит громкая музыка, и поэтому не нужно говорить. Так что ему не приходится даже напрягаться для «бальных» разговоров. Он не напрягается даже, чтобы думать; все внимание концентрируется на танцах. Либо устремляется в другое «убежище» времяпрепровождения в выходные — в занятия спортом. Тут он может сделать, например, вид, как будто самым важным событием в мире является то, какой футбольный клуб победит в матче: две команды по 11 человек играют — миллионы людей смотрят. В поединке боксеров участвуют только двое, но здесь борьба гораздо интенсивнее и к пассивному наблюдению здесь добавляется изрядная доля садизма. Все это не следует ни в коей мере понимать как протест против здорового спорта. Следовало бы лишь критически спросить, какая внутренняя ценность существует у такого спорта. Возьмем, например, альпинизм. Альпинизм предполагает активность; пассивное наблюдение здесь отсутствует. В нем есть настоящие достижения: что касается физической способности достижения успеха, альпинист при определенных обстоятельствах (опасности для жизни) вынужден выжимать из себя последнее; в душевном плане здесь тоже нужны усилия — там, где он должен научиться преодолевать, например, страх или головокружение от высоты. Причем следует заметить, что альпинист не ищет опасность (ради нее самой), но испытывает ее. Соперничество же, которое в других видах спорта ведет к погоне за рекордами, в альпинизме имеет другую, более высокую форму, а именно «соперничество с самим собой». Другим положительным социальным моментом альпинизма является чувство товарищества «по связке».

Но и в нездоровой погоне за рекордами можно наблюдать чисто человеческую черту, поскольку она представляет собой форму человеческого стремления к неповторимости и уникальности.

Подобное же можно сказать и о других массово-психологических явлениях, таких, например как мода: в ней человек стремится к оригинальности любой ценой; жаль только, что единственность и неповторимость в этом случае исчерпываются чисто внешними атрибутами.

Не только спорт, но и искусство могут быть использованы для достижения невротических целей. В то время как подлинное искусство и его восприятие обогащают человека и ведут его к реализации его внутренних возможностей, невротично используемое «искусство» лишь отвлекает человека от него самого. В этом случае оно является лишь возможностью и поводом для самоопьянения и самоотупления. Если человек пытается убежать от себя самого и от чувства экзистенциального вакуума, то он прибегает, например, к увлекательному детективному роману. В его остром сюжете он ищет в конечном счете только развязки — того отрицательного удовольствия ухода от чего-то неприятного, которое Шопенгауэр ошибочно полагал за единственно возможное удовольствие. Я уже говорил, что неудовольствие, напряжение, борьба предназначены совсем не для того, чтобы получать от них в свободное время отрицательное удовольствие. В действительности мы ведем жизненную борьбу не для того, чтобы доставлять себе этим все новые и новые ощущения; жизненная борьба скорее является чем-то целенаправленным и лишь благодаря этому осмысленным. Самой притягательной из возможных субстанций охотника за острыми ощущениями является смерть в рамках «искусства» в той же степени, что и в реальной жизни. Обыватель, сидя за завтраком и просматривая газеты, ищет репортажи о несчастных случаях, закончившихся смертью. Массовые трагические происшествия, массовые смерти не могут его, однако, удовлетворить; анонимная масса воздействует, по-видимому, слишком абстрактно. Поэтому может случиться, что этот человек уже в тот же день почувствует потребность пойти в кино, чтобы посмотреть крутой триллер. С ним происходит то же, что и с любым, страдающим какой-либо зависимостью: жажда ощущений требует возбуждения нервов, возбуждение нервов порождает новую, еще большую жажду ощущений и ведет к увеличению дозы. В конечном итоге речь идет о контрастном воздействии, основанном на том, что смерть здесь — это всегда то, что происходит с кем-то другим. Этот тип людей бежит именно от того, чего он больше всего боится: от предопределенности знания о своей смерти, то есть от того, что делает для них столь невыносимой экзистенциальную пустоту, так как определенность смерти означает нечто ужасное только при условии нечистой совести. Смерть как конечный момент жизненного времени может ужасать лишь того, кто не заполняет свое жизненное время. Лишь он не может смотреть смерти прямо в глаза. Вместо того, чтобы реализовать ограниченное время своей жизни и в нем себя самого, он спасается бегством в своего рода безумие, подобно приговоренному к смерти, который в последнюю минуту начинает верить, что его еще помилуют. Этот человек спасается бегством в иллюзию того, что с ним самим якобы не может ничего случиться, а смерти и катастрофы — это лишь то, что всегда случается с другими.

Невротическое бегство в мир романов, в мир их героев, с которыми невротик себя каким-то образом идентифицирует, дает ему еще один шанс. В то время как спортсмен, установивший рекорд, добился этого своими собственными силами и имеет право почивать на лаврах, этот тип любителей романов довольствуется лишь тем, чтобы кто-то другой, пусть это будет лишь вымышленный образ, действовал за него. В жизни, однако, никогда не бывает так, что можно почивать на лаврах или довольствоваться чем-то достигнутым; жизнь, с ее все новыми и новыми вопросами и проблемами, никогда не дает нам покоя. Лишь путем самоотупления мы можем сделать себя невосприимчивыми к тому вечному «жалу», которое постоянно сверлит нашу совесть, предъявляя к нам все новые и новые требования. Того, кто останавливается, обгоняют, а тот, кто самодоволен, теряет самого себя. Следовательно, мы не должны удовлетворяться достигнутым ни как создающие, ни как воспринимающие; каждый день, каждый час несут с собой необходимость и возможность новых дел и новых переживаний.

О смысле любви.

Осмысленность человеческого существования зиждется на единственности и неповторимости человеческой личности. Известно, что ценности творчества реализуются в виде успехов или достижений, которые всякий раз взаимообусловлены социально. Сообщество как объект, на который направлено человеческое творчество, придает человеческой единственности и неповторимости экзистенциальный смысл. Но сообщество может быть и тем, на что направлено человеческое переживание, — союзом двух любящих людей. Давайте отвлечемся от любви более широком смысле этого слова, а обратимся к эротической любви; в этом случае она представляет собой то поле, на котором особенно хорошо реализуемы ценности переживания: любовь является переживанием человека во всей его единственности и неповторимости.

Кроме пути, на котором неповторимость и единственность человеческой личности выражаются через реализацию ценностей творчества, т. е. более или менее активно, есть еще и второй путь, пассивный, на котором все то, что человек, как правило, должен добывать благодаря затраченному труду, дается ему в руки просто так. Этот путь — быть любимым. Без того чтобы человек делал что-то сам, на этом пути человеку дается возможность реализации его единственности и неповторимости как милость. Как человеческая личность он становится для любящего его незаменимым и неповторимым, не сделав ничего для этого. Человек, которого любят, «не виноват» в том, что в состоянии любимого реализуется его личностная ценность, единственность и неповторимость его личности. Любовь — не заслуга, а милость.

Но любовь — не только милость, но и волшебство. Для любящего человека она придает миру дополнительную ценность. Любовь повышает у любящего восприятие всей шкалы ценностей. Она раскрывает человеку мир во всей его ценностной полноте. В своей преданности любимому любящий внутренне обогащается: весь мир становится для него шире и глубже, он расцветает под лучами тех ценностей, которые видит лишь любящий; ведь известно, что любовь делает человека не слепым, а зрячим — ценностно зрячим. Наряду с милостью быть любимым и волшебством любви существует еще и третий момент: чудо любви. Ведь благодаря ей совершается нечто непостижимое, а именно то, что на окольном пути через биологическое в жизнь вступает новая личность, в свою очередь также полная тайны, единственности и неповторимости своего существования: ребенок!

Сексуальность, эротика и любовь.

Мы уже неоднократно говорили о ступенчатом строении и о многослойной структуре существа «человек», постоянно подчеркивая, что мы рассматриваем человека как телесно-душевно-духовное целое. И эта целостность должна так и рассматриваться психологами, чтобы рядом с телесным использовалось как терапевтическое начало не просто душевное, но и духовное в человеке.

Теперь мы хотим показать, как по-разному человек, человек любящий, переживающий любовь и чувствующий любовь другого, может относиться к многослойной структуре личности. Трем измерениям человеческой личности соответствуют три возможные формы установки по отношению к ней. Самая примитивная — это сексуальная установка. В этом случае от телесного облика другой личности исходит сексуальный раздражитель и он является тем, что пробуждает сексуальный инстинкт, иначе говоря, физически возбуждает этого человека. Следующая, более высокая, форма возможного отношения к партнеру — эротическая установка; причем из эвристических соображений мы противопоставляем друг другу эотику и сексуальность. Человек с эротической — в этом более узком смысле слова — установкой является не просто сексуально возбужденным, он — более чем просто сексуально «озабоченный». Его отношение продиктовано не собственно сексуальным инстинктом и не спровоцировано другим человеком как лишь сексуальным партнером. Если мы воспринимаем тело партнера как его внешнюю оболочку, то можно сказать, что человек, относящийся к предмету любви эротически, в отличие от человека, настроенного просто сексуально, проникает в следующий слой — к душевной конституции другого человека. Эта форма отношения к партнеру, рассматриваемая как фаза отношения к нему, идентична с тем, что обычно называют влюбленностью. Физические свойства партнера нас возбуждают; а в его душевные свойства мы влюблены. Следовательно, влюбленный эмоционально возбужден своеобразной, (но не единственной в своем роде) психикой партнера, например, определенными чертами его характера. Итак, простая сексуальная установка имеет целью физические данные партнера и как интенция остается в этом слое. Эротическое отношение, отношение влюбленности, направлено на психическое; но и оно не проникает до ядра другой личности. Это делает лишь третья форма возможных отношений между людьми: подлинная любовь.

Любовь является высшей из возможных форм эротического (в самом широком смысле слова), поскольку она представляет собой наиболее глубокое проникновение в личную структуру партнера, а именно вступление с ним в связь на духовном уровне. Непосредственное слияние с духовным в партнере характеризует последнюю из возможных форм партнерства вообще. Любящий в этом смысле затронут в своей духовной глубине, затронут духовным носителем телесного и душевного своего партнера, его личным ядром. Любовь тогда — это прямая направленность на духовную личность любимого человека. Телесное и душевное проявления духовной личности являются внешней и внутренней «одеждой», которую «носит» духовная личность. В то время как сексуально настроенному или влюбленному человеку нравится в партнере какой-нибудь телесный признак или душевное качество, то есть что-то, что этот человек «имеет», любящий любит не просто что-то в любимом человеке, а именно его самого. Любящий смотрит одновременно сквозь физическую и сквозь психическую «одежду» духовной личности на

саму личность. Ему важен поэтому не ее физический «тип», который мог бы его возбуждать, или ее душевные качества, в которые он мог бы быть влюблен, — ему важен сам человек, партнер, как ни с кем не сравнимый и никем не заменимый человек.

Те устремления, которые встречаются в так называемой влюбленности, являются устремлениями не сексуальной природы и называются в психоанализе «устремлениями со сдерживаемыми целями». В этом психоанализ прав — но, по моему мнению, в несколько другом смысле. Он называет эти устремления устремлениями со сдерживаемыми целями, подразумевая генитально-сексуальную цель полового влечения. На мой взгляд, устремления сдержаны в цели в противоположном смысле: они сдержаны в направлении на более высокую форму отношения (в противовес влюбленности) — в направлении на подлинную любовь, следовательно, на следующий по глубине слой личности партнера, на его духовное ядро.

Неповторимость и единственность.

Любовь — это подлинно человеческий феномен, это акт, который отличает человеческое существование именно как человеческое, другими словами — экзистенциальный акт. Более того, она — коэкзистенциальный акт, так как любовь — это то отношение человека к человеку, которое делает нас способными воспринимать партнера во всей его неповторимости и единственности. Другими словами, любовь определяется характером встречи, а встреча означает всегда, что речь идет об отношении личности с личностью.

Любовь — это не только свойственный человеку, но и изначально человеческий феномен, т. е., не просто эпифеномен. Она была бы простым эпифеноменом, если бы трактовалась, например, психоаналитическими и психодинамическими доктринами в качестве сублимации сексуальности. Но любовь не может быть простой сублимацией сексуальности по той простой причине, что она является условием и предпосылкой процесса, лишь в рамках которого только и мыслимо нечто подобное сублимации, а именно все возрастающая — в ходе развития и созревания — интеграция сексуальности.

Развитие и созревание сексуальности исходят из простого сексуального порыва, который, если сохранить введенную Фрейдом терминологию, не знает ни цели влечения, ни объекта влечения. Позднее происходит образование сексуального влечения в более узком смысле слова. Сексуальное влечение уже имеет цель. Оно нацелено на половой акт. Но ему недостает еще объекта влечения, т. е. настоящего любовного партнера, на которого он был бы нацелен: такая направленность и нацеленность на определенную, а именно любимую личность, характеризует третью фазу и третью стадию сексуального развития и созревания — сексуальное устремление. Это значит, что способность к любви является условием и предпосылкой для интеграции сексуальности. Или, как я обычно говорю, лишь «Я», которое интендирует «Ты», может интегрировать собственное «Оно».

То, что человек — если он действительно любит — в своей любви «настроен» на неповторимое и единственное духовной личности партнера, ясно любому здравомыслящему человеку. А теперь предположим ему представить, что он любит определенного человека и этого человека он каким-то образом навсегда потерял — по причине смерти, отъезда или длительной разлуки; и ему предложили, так сказать в обмен, двойника любимого человека — другого человека, который в психофизическом отношении практически неотличим от любимого. Спросим, смог ли бы любящий просто перенести свою любовь на этого человека, и он вынужден будет признать, что он не способен на это. Действительно, невозможно представить себе подобное «перенесение» подлинной любви. Ведь любящий по-настоящему любит не какие-либо психические или физические особенности в любимой личности, ведь он любит не ту или другую особенность, которую она *имеет*, а то, чем она *является* в своей единственности. Но любимый как единственный никогда не может быть заменен никаким двойником, пусть даже очень похожим. Человеку, испытывающему простую влюбленность, напротив, можно было бы помочь с помощью двойника. Его влюбленность без труда может быть перенесена на двойника, так как в своей влюбленности он настроен только на душевный характер, который имеет партнер, а не на духовную личность, которой партнер является.

Духовная личность как предмет собственно любовной установки является, следовательно, для подлинно любящего человека незаменимой, так как она неповторима и единственна. Но из этого следует, что настоящая любовь всегда сохраняет свою продолжительность во времени. Состояние физического влечения проходит, и определенное душевное состояние тоже существует недолго; то физическое состояние, которое представляет собой состояние сексуального возбуждения, является преходящим; более того, сексуальное влечение исчезает сразу же после его удовлетворения; также и то душевное состояние, которое мы называли влюбленностью, обычно длится недолго. Духовный же акт, в котором мы воспринимаем духовную личность партнера

интенционально, не имеет границ во времени. Настоящая любовь остается сохраненной от преходящести времени, которой подвержены простые состояния физической сексуальности или душевной эротики.

Любовь — это больше, чем эмоциональное состояние. Любовь — интенциональный акт. То, что в ней интендируется, — это самость другого человека. Эта самость — сущность этого другого человека — независима, как всякая самость, от существования; сущность не зависит от существования и, следовательно, стоит выше последней. Так, и только так, следует понимать, что любовь может пережить смерть любимого человека; только сейчас нам становится понятным, что любовь может быть сильнее смерти. Существование любимого человека уничтожается смертью, но его самость не может быть прервана его смертью. Его единственная в своем роде сущность является — подобно всем подлинным сущностям — вневременной и, следовательно, непреходящей. «Идея» человека — та, которую видит любящий его, — принадлежит царству надвременного. Но не следует думать, что подобные размышления, которые вынуждены обращаться к схоластическим или платоническим идеям, слишком далеки от того способа простого переживания, познавательное достоинство которого признаем и мы. В подтверждение этого приведу рассказ бывшего узника концентрационного лагеря о своих переживаниях: «Нам всем в лагере — моим товарищам и мне — было ясно: в этом мире нет счастья, которое когда-либо в будущем могло бы искупить то, что нам пришлось испытать во время нашего заключения. Если бы мы задавали себе вопрос, что является для нас большим несчастьем: умереть или продолжать жить, то мы бы выбрали одно: лечь на колючую проволоку, т. е. покончить жизнь самоубийством. Если люди этого не делали, то только из-за глубокого чувства некоего долга. Что касается меня, то я был обязан остаться в живых ради моей матери. Мы любили друг друга больше всего на свете. Таким образом, моя жизнь имела смысл — несмотря ни на что. Но мне приходилось ежедневно и ежечасно принимать в расчет возможность моей смерти. И поэтому даже моя смерть должна была иметь какой-то смысл — а также и все страдания, которые мне еще предстояли. Тогда я заключил договор с Небом: если мне суждено умереть, то моя смерть должна подарить матери жизнь; за то, что я должен буду выстрадать еще до моей смерти, пусть за это ей будет уготована легкая смерть. Лишь с этой позиции принесения жертвы моя жизнь, полная страданий, казалась мне выносимой. Я мог жить той жизнью только в том случае, если она имела какой-то смысл». Рассказчик особо подчеркнул, что он всегда, насколько ему позволяли время и обстановка лагерной жизни, внутренне обращался к духовному образу столь горячо любимого им человека. Таким образом, мы можем сказать: в то время как в его конкретной жизненной ситуации было невозможно реализовать творческие ценности, он по-настоящему познал внутреннее обогащение и полноту существования, исполненного преданной любви, жизни, которая реализует ценности переживания в чувствах любящего. Заслуживающим внимания кажется мне и продолжение этого рассказа: «Но я не знал, жива ли еще моя мама. За все время жизни в лагере мы не получали никаких сообщений друг о друге. Но я поймал себя на том, что во время моих разговоров с матерью, которые я вел постоянно, мне совершенно не мешало то, что я даже не знал, жива ли еще вообще моя мать!». Этот человек не знал в каждый момент своей жизни, существует ли еще физически любимый им человек, и, несмотря на это, постоянно разговаривал с ней, не задавая себе вопроса о ее «существовании». Следовательно, любовь в такой степени принимает сущность другого человека такой, какая она есть, что его существование не подвергается больше сомнению. Другими словами: истинно любящего в такой мере наполняет сущность другого человека, что его реальное существование отступает на задний план.

Для настоящей любви так мало значит телесность любимого, что она может пережить даже ее смерть и длиться вплоть до собственной смерти любящего. Для истинно любящего человека смерть любимого никогда по-настоящему не осознается, он не может охватить ее разумом, так же как и собственную смерть. Ведь известно же, что факт собственной смерти невозможно себе представить, он столь же немыслим, как факт своего несуществования до рождения. Тот, кто действительно думает, что может постичь смерть человека, обманывает самого себя. В конечном счете является немыслимым то, что определенная личность, просто из-за того что носимый ею организм стал трупом, изъята из мира и, следовательно, не принадлежит больше никакой форме бытия. Шелер в статье, вышедшей после его смерти, по поводу подвергаемого сомнению тезиса о «продолжении жизни» личности после смерти (тела) указал на то, что нам еще при ее жизни «дано» значительно больше — если только мы действительно «интендируем» эту личность, — чем «пара чувственно воспринимаемых клочков» ее телесно видимого образа; лишь их недостает нам после смерти. Но этим отнюдь не сказано, что личность сама больше не существует; самое большее, что можно было бы утверждать, — что личность лишь не может сама «предъявить» себя; так как для «предъявления» ей необходимы физиологические процессы выражения. Следовательно, становится еще более ясно, по какой причине и в каком смысле настоящая интенция любви, т. е. интенция другой личности как таковой, не зависит от ее физического присутствия, от ее физической субстанции вообще.

Все это, конечно же, не означает, что любовь не желает «воплощаться телесно». Однако она не вынуждена зависеть от телесного. Телесное, сексуальное не является первостепенным, самоцелью, а служит скорее средством выражения. Любовь может принципиально существовать и без этого. Там, где это возможно, она будет этого хотеть и искать; но где необходим отказ, она из-за него не охладает и не умрет. Духовная личность приобретает образ, формируя свои душевные и физические способы проявления и формы выражения. Таким образом, в центрированной вокруг ядра целостности личности внутренние слои получают выражения через внешние. В какой-то мере телесное в человеке в состоянии выразить его характер (как нечто, свойственное душе), а его характер, в свою очередь, — выразить личность (как нечто, свойственное духу). Духовное находит выражение — и требует выражения — в физическом и душевном. Физический облик любимого человека становится для любящего символом того, что стоит за этим, и дает о себе знать во внешнем, но не исчерпывается в нем. Настоящая любовь сама по себе не нуждается в телесном ни для ее пробуждения, ни для ее удовлетворения; но она пользуется телесным и в том, и в другом отношении. В отношении ее пробуждения постольку, поскольку человек инстинктивно находится под впечатлением физического в партнере, — из этого, однако, не следует, что его любовь направлена на телесное партнера; но телесное партнера — как выражение духовного личности — иногда вводит эту личность, так сказать, в более узкий круг выбора — ограниченный круг выбора для любящего, который, руководствуясь верностью инстинкта, предпочитает одного человека другому. Определенные физические особенности или душевные качества определенного характера будут тогда тем, что приводит любящего к определенному — к «ему определенному» — партнеру. Следовательно, в то время как «поверхностный» человек, общаясь с партнером, остается «на поверхности» и не в состоянии проникнуть в его глубину, для «глубокого» человека даже и сама «поверхность» остается выражением глубины и это выражение имеет большое значение, хоть и не является существенным и решающим.

В этом смысле любовь использует физическое для своего пробуждения; мы сказали, однако, что она пользуется им также для своего воплощения. Действительно, физически зрелая любящая личность будет стремиться к физическому сближению. Но для истинно любящего физическая, сексуальные отношения являются средством выражения его духовного отношения, которое и является, собственно, его любовью, и как средство выражения они получают человеческое благословение лишь благодаря любви как несущему их духовному акту. Поэтому можно сказать: так же как тело партнера для любящего становится выражением его духовной личности, так и сексуальный акт для любящего является выражением его духовной интенции.

Следовательно, для возникновения чувства любви внешнее впечатление от физического облика человека является относительно нерелевантным. Фактические индивидуальные признаки его психофизики получают свое эротическое достоинство лишь благодаря любви, достойными любви свойствами их делает именно любовь. Это должно настроить нас критически и сдержанно по отношению к стремлению использовать косметику для улучшения своей внешности. Ведь даже то, что мы называем недостатками внешности, является неотъемлемой принадлежностью данного человека, так как если что-то внешнее вообще воздействует, то воздействует не само по себе, а именно в любимом человеке. Одна пациентка, например, носилась с мыслью сделать свою некрасивую грудь красивее с помощью косметической операции. Она спросила совета у своего врача. Тот предостерег ее, сказав, что муж любит ее и именно поэтому он любит ее тело таким, какое оно есть. И вечернее платье производит впечатление на мужчину не «само по себе», а красивым он находит его лишь на любимой женщине, которая его носит. Наконец, пациентка спросила своего мужа о его мнении. И муж дал ей понять, что эффект операции он смог бы воспринимать лишь как помеху — так как ему бы пришлось тогда сказать: «Это вроде как больше не моя жена». Психологически, конечно, понятно, что человек, который внешне мало привлекателен, будет вынужден энергично добиваться как раз того, что внешне привлекательным людям само дается в руки. Чем труднее некрасивому человеку устроить свою личную жизнь, тем больше он будет переоценивать ее значение. Фактически же любовь является лишь одним из возможных шансов наполнить жизнь смыслом, и даже не самым большим. Было бы грустно думать о нашем существовании и нашу жизнь можно было бы назвать бедной, если бы ее смысл зависел от того, переживаем ли мы счастье любви или нет. Жизнь бесконечно богата ценностными шансами. Стоит только вспомнить о реализации ценностей творчества. Поэтому и тот, кто не любит и не любим, может организовать свою жизнь в высшей степени осмысленно. Можно лишь спросить, является ли эта неспособность действительно посланной судьбой или это — невротическая неспособность, когда кто-то не способен найти счастья любви. И здесь, в отношении ценностей переживания любви, имеет значение — аналогично тому, как при отказе от реализации ценностей творчества в пользу ценностей отношения — то, что отказ является действительно вынужденным, а не сделанным слишком рано. А опасность такого преждевременного отказа в общем-то велика. Люди часто забывают, как относительно невелико значение внешней привлекательности и насколько больше в любовной жизни зависит от личности.

Мы все знаем замечательные — и дающие утешение — примеры того, как внешне малопривлекательные или вообще незаметные люди благодаря своей личности обладают таким шармом, что имеют успех в любовной жизни.

Для пессимизма внешне малопривлекательных людей нет, следовательно, никаких оснований. Но очень часто такие люди все-таки обижаются на судьбу. Невротический человек, который остается не реализованным в определенной ценностной области, приходит или к переоценке, или к обесцениванию данной области жизни. И на том, и на другом пути он оказывается неправ. Невротически судорожное стремление к «счастью» в любви уже из-за своей невротической судорожности ведет к «несчастью». Следовательно, тот, кто фиксирован на переоцениваемую им эротику, пытается нажать на ту дверь, которая ведет к счастью, о которой мы уже вместе с Кьеркегором сказали, что она «открывается на себя» и при нажатии лишь закрывается перед необузданным. С другой стороны, тот, кто фиксирован на любовной жизни в негативном смысле, обесценивая ее и этим обесцениванием пытаясь оправдать свои неудачи в любви, сам закрывает перед собой дверь к счастью любви. Внутренняя озлобленность из-за кажущегося или действительно вынужденного отказа ведет к тому же результату, что и отказ и протест против судьбы: оба типа людей лишают себя своего шанса. Тогда как свободное, не отягощенное недовольством поведение позволяет высветить ценность личности и дает, таким образом, последний шанс человеку, придерживающемуся старой истины: «Терпеливый рано или поздно добьется своего».

Подчеркивание внешнего ведет к тому, что телесная «красота» в поле эротики переоценивается. Одновременно обесценивается духовная личность человека. В оценке, например, какой-нибудь женщины, когда о ней говорят, что она красивая, содержится некое унижение; не говорит ли такая оценка том, о чем не хотят говорить, щадя ее; например, о ее низких духовных достоинствах. Подчеркнутая позитивная оценка в относительно низкой ценностной области пробуждает подозрение, что негативная оценка, относящаяся к более высокому оценочному уровню, замалчивается. В подчеркивании эротически-эстетических достоинств содержится, однако, не только обесценивание так оцениваемой личности, но и обесценивание самого оценивающего. Если я говорю исключительно о внешней красоте человека, то это означает не только, что я не знаю, что можно сказать о его духовности, но одновременно и то, что я не интересовался его духовностью, поскольку не придаю ей абсолютно никакого значения.

О формах любви, связанных с категорией «иметь».

Бессознательное намерение не принимать во внимание духовную сторону партнера лежит в основе всякого флирта, всякой обычной эротики прошлого и настоящего, не видящей единственности и неповторимости другого человека, так как она и не стремится ее замечать. Такая эротика бежит от обязательности настоящей любви, от чувства настоящей связанности с партнером — от ответственности, которая лежит в основе этой связанности. Она бежит в коллективное: в типаж, который предпочитают и представителем которого в той или иной степени является соответствующий партнер. Выбирается не определенная личность, а лишь определенный типаж. Любовная интенция не идет дальше, чем типичная, но лишенная индивидуальности внешность. Предпочитаемый в этом случае женский тип представляет собой в этом случае женщину, с которой можно иметь ни к чему не обязывающую связь, женщину, которую именно можно «иметь» и поэтому не нужно любить: она — не личность, а собственность. Любовь существует только по отношению к личности как таковой; к женщине, не являющейся личностью, нельзя испытывать любви. По отношению к ней не может быть и никакой верности; флирту сопутствует неверность. Эта неверность в подобных эротических связях вполне объяснима, так как там, где отсутствует счастье любви, недостаток его должен компенсироваться количеством сексуального удовольствия; чем менее счастлив в любви человек, тем сильнее он стремится к разнообразию в удовлетворении своего сексуального инстинкта.

Флирт представляет собой жалкую форму любви. То, что существует такое выражение, как «я имел эту женщину», позволяет взглянуть на основу этой формы эротики. То, что имеют, можно поменять; то, чем владеют, можно заменить; так же и женщину, которой владел мужчина, он может сменить; ведь он же может себе другую даже «купить». И со стороны партнера-женщины мы наблюдаем ту же эротику, связанную с категорией «иметь». Это — в самом подлинном смысле слова поверхностная эротика, которая ограничивается «поверхностным» уровнем мужчины, его внешним, телесным обликом. Для этой эротики не имеет значения, что представляет собой человек как личность; важно лишь то, обладает ли он (как возможный сексуальный партнер) сексапильностью. В подобных случаях женщина стремится к тому, чтобы скрыть все личностное,

не отягощать этим мужчину и быть ему только тем, что он ищет: типажем, который он предпочитает. Женщина в таких случаях чрезмерно заботится о своей внешности, она хочет быть «взятой» — она вовсе не хочет быть всерьез воспринятой как человек единственный и неповторимый в своем роде. Она выставляет на передний план свою внешнюю привлекательность. Она хочет представлять определенный тип, который в данный момент как раз в моде и на ярмарке эротического тщеславия имеет высокую котировку. Она хочет имитировать такой типаж возможно более достоверно и при этом зачастую она вынуждена изменять себе самой, своему Я.

Этот типаж подобная женщина заимствует, например, из мира кино. С этим типажем — который всякий раз является женским идеалом ее самой или ее партнера — она сравнивает себя постоянно, чтобы возможно более точно с ним совпадать. У нее уже давно нет стремления признавать за собой свойственную каждому человеку неповторимость. У нее даже не хватает честолюбия, чтобы самой создать новый женский тип, самой, так сказать, «сделать» моду. Вместо того чтобы творить, создавать, она удовлетворяется тем, чтобы представлять типаж. Охотно и добровольно она предлагает мужчине тот «тип», который он предпочитает. Она никогда не отдает самое себя, никогда не отдает с любовью свое Я. На этом пути она все дальше и дальше отходит от полноценной, реализованной, настоящей любовной жизни. Ведь и она никогда не рассматривается как объект любви, так как только кажется, что мужчина ищет именно ее; на самом деле ему нужен только ее типаж. Преданная мужчине в его желаниях, она с готовностью отдает ему все, что ему нужно и что он хочет «иметь». Так оба остаются ни с чем вместо того, чтобы искать друг друга и, таким образом, обрести самих себя, найдя путь к своей единственности и неповторимости, которые одни лишь способны сделать жизнь другого человека и собственную жизнь достойной любви. Ведь если в творчестве человек выражает свою индивидуальность и неповторимость, в жизни он вбирает в себя уникальность и неповторимость партнера. В обоюдной отдаче любви, в этом отдавании и принятии друг друга, находит одновременно свое выражение и собственная личность. Подлинная любовная интенция проникает, следовательно, до того слоя бытия, в котором каждый отдельный человек не представляет какой-нибудь типаж, а является уникальной личностью, несравнимой и незаменимой, оснащенной всеми достоинствами такой уникальности.

Если настоящая любовная установка представляет собой направленность одной духовной личности на другую, то она является единственным гарантом верности. Подлинно любящий человек, преданный предмету своей любви, не может себе представить, что его чувство когда-либо изменится. Это становится понятным, если мы вспомним о том, что его чувства не зависят от «состояния», но интенциональны. Они интендируют сущность любимого человека и его ценность, так же как в каком-нибудь другом духовном акте (например, акте познания или восприятия ценности) постигается сущность или ценность. Если я однажды понял, что $2 \cdot 2 = 4$, то я понял это раз и навсегда. И если я понял истинную сущность другого человека и полюбил его, то эта любовь, всегда должна оставаться во мне. Когда человек переживает настоящую любовь, он переживает ее как значимую на всю жизнь, как истину, которую он признает как вечную; настоящая любовь — пока она длится в эмпирическом времени — обязательно переживается как вечная. Но в поисках истины человек может ошибаться. И в любви могут быть отдельные ошибки. Субъективная истина никогда не представляется возможным заблуждением; лишь позже она может оказаться заблуждением. Человек не может по-настоящему любить «на какое-то время», он не может интендировать временность как таковую и «желать» временной конечности любви; он может, самое большее, любить «с риском» того, что предмет его любви впоследствии окажется недостойным его чувства и что любовь «умрет», как только исчезнет ценность любимой им личности.

Всякую простую собственность можно поменять. Но благодаря тому, что настоящая любовная интенция интендирует в другом не то, чем можно было бы «владеть», благодаря тому, что подлинная любовная интенция интендирует то, чем другой является, — благодаря этому лишь настоящая любовь ведет к моногамной установке. Для моногамной установки необходимо, чтобы партнер был воспринят в своей уникальности и неповторимой индивидуальности (т. е. в своей духовной сущности) и, следовательно, вне всяких телесных или душевных особенностей, в отношении которых каждый человек может быть заменен или представлен другими носителями подобных же особенностей.

Уже из одного этого можно заключить, что простая влюбленность, по сути своей являющаяся более или менее мимолетным «состоянием чувств», должна рассматриваться как противопоставление к заключению брака. Тем самым я вовсе не хочу сказать, что настоящая любовь уже сама по себе дает стопроцентную гарантию счастливого брака. Брак — это ведь нечто большее, чем дело исключительно личного переживания. Брак — это комплексная структура; это легализованный государством и/или санкционированный церковью институт общественной жизни,

т. е. я хочу сказать, что брак входит также и в область социального. И с учетом этого здесь должны быть выполнены определенные условия до того, как будет заключен брак. Сюда следует включить еще и биологические условия и обстоятельства, которые в каждом конкретном случае могут считаться благоприятным или неблагоприятным прогнозом для заключения брака. Существуют же, например, евгенические противопоказания. Однако они не могут угрожать настоящей любви; хорошо известно, что брак может быть счастливым только в тех случаях, где для партнеров важно духовное содружество, а не, так сказать, общее «дело продолжения рода» двух биологических индивидуумов. Если же, напротив, в качестве мотивов для заключения брака исключительно важными становятся мотивы, изначально лежащие за пределами настоящей любви, то это происходит лишь в рамках той эротики, о которой говорилось выше, — т. е. все эти мотивы принадлежат доминантной категории «иметь». Там, где при заключении брака определяющими являются экономические мотивы, это диктуется, в первую очередь, ярко выраженным, желанием «иметь». Социальный момент брака здесь принимается во внимание изолированно, и в расчет принимаются лишь экономические соображения.

Настоящая любовь уже сама по себе конституирует момент определенности моногамной связи. К этой связи относится еще и второй момент — момент эксклюзивности (Освальд Шварц). Любовь означает чувство внутренней связанности; моногамная связь в форме брака означает внешнюю связь. Сохранить эту связь в ее определенности означает быть верным. Эксклюзивность же связи требует от человека, чтобы он не просто связывал себя с другим человеком, но и знал, с кем он себя связывает. Этот момент предполагает способность сделать выбор в пользу определенного партнера. Эротическая зрелость как внутренняя готовность к моногамной связи заключает в себе, следовательно, двойное требование: требование способности принять эксклюзивное решение в пользу партнера и требование способности соблюдать ему верность. Если рассматривать юность как время подготовки к эротической, а следовательно, и к любовной жизни, то окажется, что от молодого человека требуется не только найти себе верного партнера, но и вовремя «научиться» быть ему верным. Это двойное требование не лишено антиномии. С одной стороны, молодой человек должен стремиться получить определенный эротический опыт, а с другой — он должен стремиться к тому, чтобы любить одного-единственного человека и, отменяя возможные желания и настроения, сохранять эту любовь. Поэтому может наступить момент, когда он не будет знать, должен ли он отказаться от конкретного партнера, чтобы иметь как можно больше разных связей и тогда наконец решиться на правильную, или же как можно дольше сохранять одну конкретную связь, чтобы скорее научиться верности. На практике молодому человеку, поставленному перед этой дилеммой, нужно лишь спросить себя, не хочет ли он «выйти» из своей конкретной и во всех отношениях полноценной связи лишь потому, что он боится связанности и бежит от ответственности, или наоборот — не потому ли он судорожно держится за пошатнувшуюся связь, что он боится — пусть на несколько недель или месяцев — остаться одиноким. Если он спросит себя подобным образом, тогда ему будет легко принять правильное решение.

Ценности и удовольствия.

Шелер характеризует любовь как духовное движение к возможно более высокой ценности любимой личности, как духовный акт, в котором эта возможно более высокая ценность, называемая им «благом» человека, становится воспринятой. Шпрангер говорит о любви нечто в том же роде — что она познает ценностную возможность любимого человека. Достоевский выражает это иначе: любить человека — значит видеть его таким, каким его задумал Бог.

Можно сказать, что любовь позволяет нам видеть ценностный образ человека. Она совершает поистине метафизическое достижение, так как ценностный образ, который мы видим в каждом свершении акта любви, является в конечном счете образом чего-то невидимого, нереального. В духовном акте любви мы воспринимаем, таким образом, в человеке не только то, чем он является в своей единственности и неповторимости, но одновременно и то, кем он в своей уникальности и неповторимости может быть и может стать. Вспомним о парадоксальном определении реальности человека как возможности — возможности реализации им ценностей, возможности самореализации. Любовь видит прежде всего данные возможности человека. Попутно отметим, что и вся психотерапия должна рассматривать человека, с которым она имеет дело, в его самых сокровенных возможностях, т. е. должна предугадывать его ценностные возможности. То, что из сущностного образа любимого человека может быть «считан» его ценностный образ, следует отнести к метафизическому загадочности духовного акта, называемого любовью. Ведь определение ценностной возможности на основании сущностной реальности не поддается простому расчету. Рассчитать можно лишь реальности. Возможности не поддаются никакому расчету. Мы уже говорили, что человек начинает именно тогда быть человеком в подлинном смысле этого слова, когда он не может быть просчитан из данной реальности и связи с природным окружением, а начинает представлять собой ему самому данную возможность. Обычное

утверждение, что человек, живущий инстинктами, непредсказуем, в этом аспекте должно выглядеть, следовательно, неверным. Гораздо ближе к истине противоположное утверждение: именно исходя из природы инстинктов можно предсказать человека! И лишь «человек разума» как простая конструкция разумного существа, называемого человек, или психологический тип «расчетливого» человека, просчитывающего все свои действия, — он, и только он, является предсказуемым.

Выявление ценностей может лишь обогатить человека. Это внутреннее обогащение даже составляет в какой-то степени смысл его жизни, что хорошо видно на примере ценностей переживания. Следовательно, и любовь должна в любом случае обогатить любящего. Таким образом, не существует никакой «несчастной» любви; ее просто нет не может быть. «Несчастливая любовь» — это противоречие в самом себе: так как или я действительно люблю (и тогда я чувствую себя обогащенным независимо от того, нахожу ли я ответную любовь или нет), или же я не люблю, я не «вижу» личность другого человека, а смотрю мимо нее, вижу в нем лишь что-то телесное или какую-нибудь черту характера, которую он «имеет» (лишь тогда я могу чувствовать себя несчастным, но тогда меня нельзя назвать любящим человеком). Конечно, простая влюбленность делает человека в какой-то степени слепым, настоящая же любовь делает его зрячим. Она позволяет видеть духовную личность эротического партнера — в ее сущностной реальности, так же как и в ее ценностной возможности. Любовь позволяет нам воспринимать другого как мир в себе и позволяет нашему собственному миру развиваться. Обогащая нас этим и делая счастливыми, она развивает также и другого, поскольку она подводит его к той ценностной возможности, которая в любви и только в ней может быть увидена и предвосхищена. Любящий хочет быть все более и более достойным любимого и его любви, становясь все более похожим на тот образ, который любящий видит в нем, и становится все более и более таким, каким его задумал Бог.

Если даже «несчастливая» любовь, т. е. любовь без взаимности, нас обогащает, то «счастливая», т. е. обоюдная любовь, исключительно созидательна. В обоюдной любви, в которой один хочет быть достойным другого и стать таким, каким его хочет видеть другой, дело доходит до диалектического процесса, в котором любящие в реализации своих возможностей стимулируют друг друга.

Простое удовлетворение сексуального влечения предлагает удовольствие, эротика влюбленного предлагает радость, любовь предлагает счастье. В этом дает о себе знать увеличивающаяся интенциональность. Удовольствие — это чувство, состояние; радость же интенциональна, т. е. на что-то направлена. Счастье имеет определенное направление — на собственное воплощение. Так счастье приобретает характер достижения. Счастье не только интенционально, но и продуктивно, то есть человек в своем счастье может «реализовать себя». Так мы приходим к пониманию смысла аналогии: счастье — страдание. Выше, при обсуждении вопроса о смысле страдания, говорилось, что человек может реализовать себя и в нем. Мы видели, что и в страдании могут быть достижения. Таким образом, следует различать интенциональные чувства и «продуктивные» эмоции, с одной стороны и, с другой — непродуктивные, простые чувства-состояния. Например, печали, об интенциональном смысле и о творческой продуктивности которой уже шла речь, можно противопоставить непродуктивное состояние тема из-за потери чего-либо, который является просто реактивным чувством-состоянием. Даже лексика очень тонко различает настоящий гаев как интенциональное чувство и «слепую» ненависть как простое чувство-состояние.

В то время как логически термин «несчастливая любовь» является противоречием, с точки зрения психологии он является выражением особого рода жалости. Акцентирование удовольствия или неудовольствия от переживания, признаки, «предвещающие» удовольствие или неудовольствие от переживания, переоцениваются в их значении для содержания переживания. Но именно в эротике гедонистическая точка зрения неоправданна. Актеру в реальной жизни приходится испытывать то же, что переживает зритель во время спектакля: трагедии содержат, как правило, более глубокие переживания, чем комедии. И благодаря «несчастливо» протекающим переживаниям в рамках любовной жизни мы не только обогащаемся и становимся глубже; именно они позволяют нам вырасти и созреть. Внутреннее обогащение, которое человек узнает в любви, конечно же, несвободно от внутренних напряжений, которых боится и от которых бежит взрослый невротичный человек. Но то, что у него проявляется, так сказать, как патология, у молодых людей выражается на физиологическом уровне. В обоих случаях переживание «несчастной любви» становится средством к определенной цели, а именно к защите от Эроса. Эти люди прячутся за первым или единственным неблагоприятным опытом от дальнейших неудач. «Несчастливая любовь» является, следовательно, не только выражением жалости, но и средством к цели. Почти мазохистски все мысли несчастного влюбленного кружатся вокруг его несчастья. Он баррикадируется за первой — или последней — неудачей, так чтобы никогда больше не обжечься.

Он укрывается за несчастливо окончившимся любовным романом; в несчастье прошлого он скрывается от возможности счастья в будущем. Вместо того чтобы продолжать искать дорогу к любви, он прекращает поиск. Вместо того чтобы оставаться открытым богатству шансов любовной жизни, он замыкается в себе. В тяжелом оцепенении взирает он на свое переживание, не видя больше жизни вокруг себя. Для него важна надежность — вместо готовности. Он не может уйти от одного несчастного переживания, так как не хочет пережить второе. Как стрелку часов, его нужно постоянно «подводить» в состояние готовности и открытости к полноте будущих возможностей. Ведь даже по среднестатистическим расчетам в жизни человека на девять так называемых несчастных любовных связей приходится одна счастливая. Именно ее-то и должен искать человек, а не закрывать путь к ней, парадоксальным образом спасаясь от счастья бегством в несчастье. Психотерапия так называемой несчастной любви может, следовательно, заключаться лишь в раскрытии этой тенденции к бегству и в указании на характер жизни как задачи, который имеет не только жизнь вообще, но и любовная жизнь в частности.

Даже счастливая любовь не всегда свободна от «несчастья», а именно тогда, когда счастье любви нарушается муками ревности. И в ревности присутствует тот эротический материализм, о котором речь шла выше, так как в основе ревности лежит отношение к объекту любви как к собственности. Ревнующий относится к человеку, которого, как ему кажется, он любит, так, словно это его собственность, до которой он, следовательно, его низводит. Он хочет, чтобы любимый человек принадлежал «только ему», и подтверждает этим, что его поведение определяется категорией «иметь». Но в отношениях подлинно любящих нет места для ревности. Для нее нет оснований, так как подлинная любовь предполагает, что любящий человек воспринимает любимого в его уникальности и неповторимости, т. е. в его основополагающей несравнимости с другими людьми. Соперничество, которого так опасаются ревнивые, предполагает, с другой стороны, возможность сравнения с конкурентом. В подлинной же любви не может быть соперничества или конкуренции, так как каждый любимый человек для всякого истинно его любящего является несравненным.

Известно, что существует еще и такая ревность, которая распространяется на прошлое партнера, а именно ревность к «предшественнику»; люди, мучимые такой ревностью, всегда хотят быть первыми. На первый взгляд, скромнее тот тип людей, которые довольствуются ролью «последних». В известном смысле, однако, это не более скромный, а наиболее притязательный тип, так как для него важен вопрос не приоритета, а превосходства по отношению ко всем предшественникам и последователям. Все эти люди, вместе взятые, так или иначе игнорируют факт основополагающей уникальности каждого человека. Тот, кто сравнивает себя с другим, несправедлив либо по отношению к этому другому, либо к себе самому. Это же относится и ко всему, что лежит за рамками любовной жизни. Ведь у каждого человека — свой собственный старт; у кого был более трудный старт, так как он имел более трудную судьбу, у того и его личное достижение (при прочих равных обстоятельствах) будет соответственно большим. Однако так как судьбу невозможно обозреть во всех ее тонкостях и деталях, то для сравнения достижений не удастся подобрать какую-либо приемлемую базу.

Необходимо подчеркнуть, что ревность таит в себе опасную динамику в тактическом отношении. Ревность рождает то, чего она опасается: отказ ревнивцу в любви. Так же как вера не только питается внутренней силой, но и ведет к еще большей силе, так и неуверенность в себе не только возникает из-за неудач, но и приносит сомневающемуся в успехе все больше новых неудач. Ревнивый сомневается в том, что он может «удержать» партнера; и он может его действительно потерять, именно из-за того, что он толкает человека, в верности которого он сомневается, на неверность: он прямо-таки гонит его в руки третьего. Так он делает реальностью то, во что он верит. Несомненно, верность является задачей любви. Но как задача она возможна всегда для себя самого, а не как требование к партнеру. Как требование она может стать для партнера — на долгую перспективу — вызовом. Оно вынудит его к протесту, из-за которого он, возможно, рано или поздно действительно станет неверным. Вера в другого, как и в себя самого, делает человека уверенным, так что эта вера в конце концов оправдывается. И наоборот — неверие делает человека неуверенным, так что и неверие, в конечном итоге, тоже подтверждает себя. Это же относится к вере в верность партнера. Этой вере в другого соответствует, со стороны партнера, искренность. Но так же как вера имеет свою диалектику, следуя которой человек делает реальностью то, во что он верит, так и искренность имеет свою парадоксальность: говоря правду, человек может лгать, а ложь может быть правдой, т. е. ложь может «сделаться реальностью». Один пример, который знает каждый врач, может это проиллюстрировать: если мы измеряем больному давление и, обнаружив, что оно слегка повышено, по желанию больного сообщаем ему действительный результат, то больной пугается и его давление становится выше, чем то, о котором мы ему сказали. Но если мы не скажем больному правду, а назовем ему более низкий

результат, чем тот, который был установлен, то мы его успокоим и его давление от этого станет ниже, так что мы с нашей кажущейся ложью в конце концов оказываемся правы.

Последствия, которые вытекают из неверности партнера, могут быть различными. Но возможность различных установок по отношению к измене партнера дает человеку шанс реализовать ценности отношения. В зависимости от конкретного случая один пытается преодолеть это переживание, отказываясь от партнера, другой не отказывается от него, а прощает и примиряется с ним, а третий пытается заново завоевать любовь партнера и вернуть его.

Эротический материализм не только делает эротического партнера своей собственностью, но и саму эротику превращает в товар. Наиболее явственно это проявляется в проституции. Как психологическая проблема проституция в меньшей степени является таковой для проститутки, чем для потребителя проституции. Психология проститутки свободна от проблем, поскольку она принадлежит к области психопатологии более или менее психопатических типов личности. Социологический анализ отдельных случаев не помогает решить эту проблему, так как одна лишь экономическая нужда не навязывает никому определенного поведения, т. е. не принуждает нормальную женщину к проституции. Напротив, многие женщины, несмотря на большие экономические проблемы, противостоят соблазну найти их решение в проституции. Такой выход из экономической нужды для них просто немыслим, и это для них столь же естественно, сколь естественен для типичной проститутки выбор ее занятия.

Что же касается потребителя проституции, то он ищет в ней ту безличную и необязывающую форму «любви жизни», которую можно сравнить с отношением к товару, к вещи. С точки зрения психогигиены проституция по меньшей мере столь же опасна, как и с точки зрения физической гигиены. Ее опасности для психики человека, однако, гораздо труднее предотвратить. Главная опасность заключается в том, что молодой человек прямо-таки дрессируется в той сексуальной установке, которая исключает всякую разумную сексуальную педагогику. Эта установка — отношение к сексу как к простому средству для получения удовольствия.

Опасность, заключающаяся в скатывании к потреблению проституции, т. е. к обесцениванию сексуальности до простого удовлетворения инстинкта и сведению партнера до простого объекта удовлетворения инстинкта, становится наиболее явной там, где из-за этого закрывается путь к той правильной любовной жизни, которая находит в сексуальном не больше, чем свое выражение, и не меньше, чем свою вершину. Фиксация молодого мужчины на сексуальном удовольствии как самоцели, к которой он стремится на пути проституции, иногда накладывает отпечаток на всю его будущую супружескую жизнь. И если он потом по-настоящему полюбит, он не сможет уже повернуть назад или, точнее, не сможет идти вперед, не сможет больше прийти к нормальному отношению любящего к сексуальности. Для любящего сексуальный акт является телесным выражением душевно-духовной связанности; у того же человека, для которого сексуальность является не средством выражения любви, а самоцелью, происходит известное неизлечимое разделение женщин на так называемый тип мадонны и тип проститутки, которое с давних пор создает множество проблем для психотерапевтов.

И с женской стороны имеются типичные ситуации, которые создают для нее препятствия в том нормальном развитии, которое находит свою кульминацию в переживании сексуальности как выражения любви. Эти нарушения впоследствии часто лишь с большим трудом поддаются психотерапевтическому воздействию. Например так, как это произошло в случае, где девушка имела вначале платонические отношения со своим другом; сексуальные отношения с ним она отклонила, так как не испытывала еще к ним никакой потребности. Ее партнер, однако, настаивал на этом все сильнее и сильнее, а однажды отпустил в адрес сопротивляющейся девушки: «Мне кажется, ты фригидна». У нее возник страх, что он, возможно, прав, что, может быть, она действительно не «настоящая женщина», и поэтому она решила отдаться ему в одну из встреч — чтобы ему и себе самой доказать, что он неправ. Этот эксперимент, конечно же, повлек за собой полную неспособность к наслаждению, так как половое влечение еще совсем не созрело, не было разбужено; вместо того чтобы дожидаться постепенного естественного его развития, эта девушка вступила в сексуальный акт с судорожным стремлением доказать свою способность к наслаждению им, но одновременно и страшась, что при этом обнаружится ее неспособность к этому. Пристальное самонаблюдение уже само по себе тормозящим образом воздействует на любое проявление влечения. При таких обстоятельствах девушке не следовало удивляться тому, что она со страхом наблюдавшая за собой, не могла отдаваться с наслаждением. Возможное влияние подобного разочарования на дальнейшую любовную или супружескую жизнь может проявляться в психогенной фригидности по типу сексуального невроза страха ожидания.

Сексуально-невротические нарушения.

С «механизмом» так называемого страха ожидания психотерапевт, как известно, встречается на каждом шагу. Наблюдение за каждым автоматически регулируемым и не контролируемым сознанием актом действует уже само по себе как помеха. Склонный к заиканию человек наблюдает за своей речью — вместо того чтобы сказать то, что он хочет. Он обращает внимание на то, *как* он говорит, вместо того чтобы обращать внимание на то, *что* он говорит. Так он тормозит самого себя — как мотор, в который пытаются засунуть пальцы, вместо того, чтобы просто позволить ему работать самому по себе. Часто оказывается достаточным внушить заикающемуся, что он должен просто настроиться на то, чтобы думать вслух, что его рот будет при этом, так сказать, открываться сам по себе — и наиболее свободно, если не наблюдать за этим процессом; если удастся внушить ему это, то можно считать, что главная психотерапевтическая работа уже сделана. Примерно таким же образом работает психотерапевт и с проблемой нарушений сна. Если интендируется само засыпание, т. е. его судорожно «желают», то возникает постоянная внутренняя напряженность, которая делает засыпание невозможным. Страх перед бессонницей как страх ожидания мешает в таких случаях засыпанию, и возникшая таким образом помеха для сна подтверждает и усиливает страх ожидания, так что в конечном счете это приводит к замкнутому кругу.

То же самое можно сказать обо всех людях, потерявших уверенность в своей сексуальности. Их самонаблюдение обострено, их страх ожидания неудачи уже ведет к ней. Сексуальный невротик уже давно не интендирует партнера (как любящий) — он интендирует сексуальный акт как таковой. Однако этот акт не удастся, он и не должен удался, так как он не происходит «просто», как нечто естественное, а его «хотят». Перед психотерапевтом стоит в таких случаях важная задача: разорвать порочный заколдованный круг сексуального страха ожидания, исключив всякое интендирование акта как такового. Это удастся, как только пациента убедят никогда не допускать, чтобы он чувствовал себя *обязанным* совершить сексуальный акт. Для достижения этой цели надо избегать всего, что для пациента означает своего рода «принуждение к сексуальности». Это принуждение может быть принуждением со стороны партнерши (темпераментной, с большими претензиями) или принуждением со стороны своего собственного «Я» в тот или иной день обязательно совершить половой акт. Или, наконец, принуждение со стороны ситуации (поиски помещения на час и тому подобное). Наряду с исключением всех этих форм принуждения, которые сексуальный невротик когда-либо мог почувствовать, он нуждается в привитии ему способности импровизировать; далее необходимо тактичное руководство, которое постепенно вновь подведет его к естественности и спонтанности сексуального поведения. Однако такой психотерапии должна предшествовать попытка показать пациенту, что его первоначальное «болезненное» поведение по-человечески объяснимо и понятно, и этим освободить его от чувства, будто он страдает посланным судьбой патологическим нарушением. Другими словами, ему должно быть внушено понимание влияния страха ожидания и того порочного круга, в который он его загоняет, а также и того, как по-человечески понятно такое поведение.

Молодой человек пришел к врачу по поводу нарушения потенции. Выяснилось, что он, после длящейся несколько лет борьбы, наконец убедил свою партнершу принадлежать ему. Она сказала ему, что на Троицу хочет ему отдаться. Это обещание она дала за четырнадцать дней до Троицы. Все эти две недели молодой человек от ожидания и напряжения не мог спать. Потом оба совершили двухдневный поход, причем переночевали в избушке. Когда пациент вечером поднялся по лестнице к их общей комнате, он был так взволнован — в смысле страха ожидания, а не сексуального возбуждения, — что, как он рассказал позднее, от дрожи и сердцебиения едва мог идти. И мог ли он в такой ситуации сохранять потенцию? Врачу нужно было лишь объяснить, насколько невозможно это было в данной конкретной ситуации и как естественна была реакция пациента на нее. Так пациент наконец понял, что нарушение потенции, которого он боялся, вызвано страхом ожидания и соответствующим заколдованным кругом, и это вернуло ему необходимую уверенность. Ему стало ясно, что человек совсем не обязательно болен, если он не в состоянии одновременно любить своего партнера (предпосылка способности к сексуальному наслаждению и успеху) и со страхом наблюдать за самим собой.

Итак, в области сексуальной жизни, в ее психологии и патологии, обнаруживается, что судорожное стремление к счастью, к удовольствию как таковому, обречено на неудачу. Мы уже говорили, что человек, собственно, стремится совсем не к счастью, что он в общем-то совсем не ищет удовольствия. Для человека важно не удовольствие само по себе, а основание, причина для удовольствия. Но в той степени, в какой удовольствие действительно становится содержанием его интенции и, возможно, также предметом его рефлексии, он теряет из поля зрения причину (основание) удовольствия, и удовольствие исчезает. Кант полагал: человек хочет быть счастливым, но главное состоит в том, что он должен «быть достойным счастья». Я придерживаюсь другой точки зрения: первоначально человек совсем не хочет быть счастливым, он хочет, скорее, иметь

для счастливого существования основание! Это значит, что всякое отклонение его стремления от предмета интенции к ней самой, от цели стремления (основания счастья) к удовольствию (следствие достижения цели) — представляет собой производный модус человеческого стремления. Этому производному модусу не хватает непосредственности.

Такой недостаток непосредственности и составляет то, что отличает все невротические переживания. Мы уже видели, что уже один этот недостаток может вести к невротическим, в особенности сексуальным, нарушениям. Непосредственность, а вместе с ней и подлинность сексуальной интенции, для потенции мужчины является неременной предпосылкой. В связи с сексуальной патологией Освальд Шварц ввел для обозначения рассматриваемого нами подлинного характера интенции выражение «экземпляльность». Мы хотели бы охарактеризовать этот термин как сочетание подлинности и последовательности — при этом подлинность представляет экземпляльность, так сказать, в поперечном разрезе, а последовательность представляет идентичное содержание «экземпляльности» в продольном разрезе. Для «экземпляльного» человека является типичным, что он не так легко приходит «в смущение»: с характерной для него инстинктивной уверенностью он избегает ситуаций, которые ему «не по плечу» и избегает все среды, к которым он или которые ему «не подходят». Типично «неэкземпляльным», напротив, было бы, например, поведение тонко чувствующего мужчины, который приходит к проститутке и оказывается перед ней импотентным. Такое поведение само по себе не является болезненным и не может быть даже охарактеризовано как невротическое. От высококультурного мужчины в данном случае следовало бы не только ожидать нарушения потенции, но даже более того — требовать этого. Однако именно то, что такой человек вообще вступает в ситуацию, в которой его несостоятельность является единственно возможным выходом из нее, доказывает, что этот человек не «экземплялен». Следовательно, человеческое поведение можно назвать экземпляльным, если в нем духовное находится во внутреннем согласии с психологическим и биологическим. Мы видим, таким образом, что понятие «экземпляльный» на экзистенциальном уровне выражает то же самое, что на психологическом уровне означает «не-невротичный».

Психосексуальные нарушения невозможно понять, если мы не будем исходить из основополагающего факта человеческого бытия, а именно из того, что человеческая сексуальность всегда представляет собой нечто большее, чем просто сексуальность, поскольку она является выражением любовного отношения.

Откровенно говоря, утверждение, что человеческая сексуальность — это нечто большее, чем просто сексуальность, не совсем верно; так как даже сексуальность животных может выходить за рамки простой сексуальности. Так, Иренейс Эйбл-Эйбесфельд в своей книге «Любовь и ненависть» указал на то, что «у позвоночных животных формы сексуального поведения различным образом были поставлены на службу групповой связи», что, например, копуляция у гамадрилов служит единственно этой социальной цели. Без сомнения, половое соединение у человека имеет как задачу связать партнеров, так и задачу продолжения рода. Тот факт, что сексуальность находится на службе связи партнеров, имеет в качестве предпосылки партнерское взаимоотношение, т. е. любовь как индивидуализированную связь. «Любовь — это индивидуализированное отношение партнеров, и частая смена партнеров противоречит ей». И поэтому, как нам кажется, излишне объяснять, как это делает Эйбл-Эйбесфельд, что человек «в этом смысле от рождения предрасположен к длительным партнерствам супружеского рода». И, наконец, он предостерегает от «опасности потери индивидуализации сексуальных отношений», которая «означала бы смерть любви». Более того: «смерть любви» принесла бы с собой и уменьшение удовольствия. Ведь мы, психиатры, можем постоянно наблюдать, что там, где сексуальность является не выражением любви, а скорее просто средством получения удовольствия, этого получения удовольствия не происходит; так как — и это нужно особо подчеркнуть — чем больше значит для человека удовольствие, тем чаще оно «проходит мимо» него. Чем больше гонятся за удовольствием, тем надежнее его прогоняют. В основе импотенции и фригидности в большинстве случаев лежит именно этот механизм. И, наоборот: американский журнал «Psychology today» провел однажды опрос, и из 20 000 полученных ответов выяснилось, что фактором, который сильнее всего способствует потенции и оргазму подавляющее число респондентов считает именно любовь. Следовательно, как раз в интересах оптимизации сексуального наслаждения сексуальность не должна быть изолирована и дезинтегрирована, не должна быть оторвана от любви и, таким образом, дегуманизирована.

Психосексуальное созревание.

Говоря о сексуальности, мы не должны забывать, что она не может быть человеческой с самого начала, а должна быть очеловечена. Чтобы пояснить это, давайте исходить из двух понятий, которыми мы обязаны Зигмунду Фрейду: из различия между «целью влечения» и «объектом

влечения». Когда в пубертатном периоде происходит развитие и созревание сексуальности в узком смысле слова, разрядка накопленного сексуального напряжения — в смысле «цели влечения» — осуществляется чаще всего в форме полового акта: его заменяет мастурбация. Лишь на более поздней ступени сексуального развития и созревания добавляется «объект влечения»: появляется партнер, который подходит для сексуального акта (им может быть и проститутка).

Таким образом, становится ясно, что на этой ступени сексуальность еще не поднята на человеческую ступень, еще не очеловечена полностью; так как на человеческой ступени партнер не становится объектом, а остается субъектом, и, прежде всего, на человеческой ступени он не может больше быть употреблен как простое средство для достижения цели как с целью удовлетворения влечения, так и с целью получения удовольствия. Это, разумеется, не исключает того, что удовольствие достигается тем скорее, чем меньше человек о нем заботится.

Что произойдет, если человек в своем сексуальном развитии и созревании остановится на первой или на второй ступени или, если дело дойдет до «регрессии», опустится на одну или две ступени? Пока он находится на первой ступени и думает, что может обходиться без «сексуального акта», он помогает себе мастурбацией и нуждается в порнографии. Если же он не поднялся выше второй ступени, тогда эта «фиксация» выражается в беспорядочных половых отношениях и во всяком случае для удовлетворения своего влечения ему достаточно проституции.

Следовательно, ясно, что как потребность в порнографии, так и потребность в мастурбации могут диагностироваться как симптомы психосексуальной задержки. Индустрия сексуальных удовольствий, заботясь об их восхвалении, продает их под маркой «прогресса». Индустрия просвещения способствует этому: объявляя поход против ханжества, она лицемерит, крича о «свободе от цензуры» и имея в виду свободу для торговли и выколачивания денег. К сожалению, из всего этого вытекает навязывание сексуального потребления, которое влечет за собой резкое увеличение случаев нарушения потенции; ведь эти нарушения наступают обычно тогда, когда у пациента возникает чувство, что сексуальный акт — это достижение, которого ожидают и даже требуют от него, особенно тогда, когда это требование исходит от партнерши. Правда, нужно сказать, что это относится не только к человеку, но и к животным. Так, Конраду Лоренцу удалось побудить самку бойцовой рыбки во время спаривания не уплывать кокетливо от самца, а энергично плыть ему навстречу — в ответ на это у самца на рефлекторном уровне закрылся аппарат спаривания.

Ученые Гинзберг, Фрош и Шапиро из Нью-Йоркского университета сообщают в «Archives of General Psychiatry», что среди нынешних молодых людей импотенция увеличивается больше, чем когда-либо. Они связывают это именно с тем, что женщины в силу полученной ими сексуальной свободы требуют от мужчин сексуального успеха, как это было установлено при опросе пациентов: «Эти эмансипированные женщины требовали от нас сексуальных достижений».

Как было сказано выше, человеческая сексуальность обезчеловечивается, если ее используют лишь как простое средство для получения удовольствия. Иногда она используется также лишь как средство для продолжения рода — вместо того чтобы оставаться тем, что она есть: выражением любви. И именно религия, которая определяет Бога непосредственно как любовь, должна была бы остерегаться того, чтобы заявлять, что супружество и любовь только тогда имеют смысл, когда они служат продолжению рода. Конечно, это было провозглашено в те времена, когда не только женитьба по любви была исключением, но и необычайно высокая смертность грудных детей была правилом. А сегодня в нашем распоряжении — противозачаточная таблетка. Но она может способствовать тому, чтобы так очеловечить сексуальность, что она будет эмансипирована: лишь время от времени поставленная на службу продолжения рода, но освобожденная от принуждения служить этой цели, она будет свободна для того, чтобы служить вершиной любви.

Что же такое сама любовь? Действительно ли она — не что иное, как сексуальность «со сдерживаемыми целями», как полагал Зигмунд Фрейд? Правда ли, что она действительно может быть сведена лишь к сублимации энергий сексуальных влечений? В это верит лишь редукционизм, который любой ценой пытается превратить феномен в простой эпифеномен, выводя его из других феноменов. Но это происходит не на основании, например, эмпирических результатов, а, скорее, на основании определенного образа человека, который не декларируется, а молча подразумевается, и прямо-таки контрабандным способом внедряется в кажущиеся научными попытки объяснения.

Но если мы не хотим втискивать такой феномен, как любовь, в прокрустово ложе каких-либо интерпретаций и доктрин, а попытаемся в полной мере его понять, тогда будет недостаточно лишь психоаналитического толкования — понадобится феноменологический анализ. Но в его рамках любовь предстанет как антропологический феномен первого ранга, и он поможет понять, что

любовь является одним из двух аспектов того, что я называю самотрансценденцией человеческой экзистенции.

Часть III. Психотерапия для повседневной жизни.

Проблема души и тела с клинической точки зрения.

Говоря о своих душевных переживаниях, почти каждый из нас использовал для этого такие выражения: «У меня на сердце какая-то тяжесть», или «Это сидит у меня в печенках», или «Ох, как это на меня давит». Но при этом мало кто задумывается над тем, сколько мудрости заключено в подобных словах. Суть дела не в том, что каждому языку свойственны собственные фигуральные идиомы, а в том, что в языке отражается то, что существует в действительности.

Остановимся более подробно на последнем выражении. Один талантливый итальянский психотерапевт провел любопытный эксперимент. Он погрузил нескольких испытуемых в состояние гипноза и внушил им, что они — бедные мелкие служащие и что их начальник — жестокий бездушный человек, который постоянно придирается к ним, ругая их за малейший проступок, и поэтому они постоянно находятся под давлением, которое оказывает на них шеф. При этом они должны были терпеть подобное поведение начальника, не протестуя и даже не возмущаясь. И каков же был результат? Психотерапевт попросил сделать рентгеновские снимки всех своих подопечных — одного за другим, — при этом обращая самое пристальное внимание на область желудка, и увидел, что у всех его испытуемых есть изменения в так называемом поглотителе воздуха, то есть на каждом рентгеновском снимке было четко видно, что благодаря аномальному поступлению воздуха их желудок расширился — бессознательно и непроизвольно. Но точно такой же бессознательный и непроизвольный процесс можно наблюдать у тех пациентов, которые страдают так называемой аэрофагией (чрезмерным заглатыванием воздуха) и у которых подобным же образом расширяется желудок — вследствие подъема диафрагмы и давления снизу на сердце, причем этот процесс может происходить в самых различных формах; правда, не приводя к каким-либо серьезным последствиям. Если внимательно присмотреться к истории болезни таких людей, то во многих случаях окажется, что на них все время что-то давило — и что это был не *только* воздух: причиной этого являлись те или иные душевные переживания, какие-либо неприятности, произошедшие с ними; но об этом подобные пациенты, похоже, никогда не задумывались.

Этот факт убедительно доказывает, что сегодня, когда медицине известно уже очень многое о взаимосвязи души и тела, почти не делается попыток *ставить диагноз и лечить больных людей, обращая внимание не только на симптомы болезней, но в первую очередь на самого человека*, другими словами — на человека как переживающее и страдающее существо.

Правда, многим хорошо известно, что существует так называемая психосоматическая медицина, которая как раз и занимается внутренними соотношениями между духовным и физическим состояниями человека. Однако для того, чтобы каждый ее выстрел попадал точно в цель, нужно положить в основу изучения *любого* нарушения здоровья человека и физическое состояние его тела, и соответствующие переживания его души. Основной принцип психосоматической медицины можно сформулировать следующим образом: заболевания тела напрямую связаны с негативными душевными переживаниями. Но это нельзя считать непреложной истиной. И когда мне доказывают, что, например, приступы стенокардии — иногда сознательно, иногда бессознательно — вызываются душевным волнением, связанным с чувством сильного страха, я выдвигаю следующее возражение: хорошо известно, что подобный сердечный приступ может быть вызван не только испытываемым чувством страха, но и радостным возбуждением. Можно вспомнить случаи, когда матери, встречая своих сыновей, вернувшихся домой из длительного плена, падали как подкошенные от сильного сердечного приступа. Никто не будет спорить с тем, что тело человека является зеркалом его души. Но когда в этом зеркале отражаются темные пятна, сама душа, показывающая физическое состояние тела, несмотря на это может быть абсолютно нормальной. Тем самым я хочу подчеркнуть, что все происходящее с телом человека ни в коей мере не связано напрямую с его душевными переживаниями и что все телесные заболевания отнюдь не являются признаком отсутствия гармонии в душе заболевшего человека. Итак, мы установили: все происходящее в душе человека может оказывать сильное влияние на его физическое состояние, — но если задаться вопросом, а верно ли обратное утверждение, то есть влияет ли физическое, телесное, материальное на духовное состояние человека, то я ответил бы на этот вопрос утвердительно и подкрепил бы свое утверждение

многочисленными известными мне фактами. Пока же я ограничусь примерами из своей собственной практики и поясню свою мысль следующими клиническими наблюдениями: существуют люди, которые страдают от нарушения функции щитовидной железы; с этим телесным недугом связано определенное психическое состояние, а именно склонность указанных пациентов — и я могу это показать на многих примерах — к эмоциям, вызываемым страхом, и, в особенности, боязнью пространства (к так называемой агорафобии). Используя соответствующие медикаменты, то есть терапевтические средства, направленные на уменьшение активности щитовидной железы, удается справиться как с данным гормональным нарушением, так и со связанной с ним боязливостью. Однако, поскольку речь идет о проблеме взаимосвязи души и тела, читателя в первую очередь интересует следующее: насколько соответствуют истине мои заключительные рассуждения, которые я здесь кратко изложил, и смогу ли я отважиться на утверждение, что любой страх является, по сути дела, страхом совести. А поскольку из вышесказанного следует, что чрезмерная выработка гормона щитовидной железой приводит к появлению у пациентов чувства страха, придется сделать следующий шаг и заявить, что совесть есть не что иное, как гормон щитовидной железы.

Очень многие — в не меньшей степени, чем я сам, — посчитали бы подобный вывод ложным и смехотворным. Но вот один профессор медицинского факультета из Калифорнии сумел отважиться на подобное заключение. Он исходил из противоположного факта: не повышенной, а пониженной функции щитовидной железы — и установил следующее. Когда он лечил одного кретина (то есть индивидуума, страдавшего снижением функции щитовидной железы и вследствие этого сильно отставшего в своем духовном развитии), давая ему гормон щитовидки, то вскоре с удивлением отметил повышение коэффициента интеллекта данного больного, что впоследствии было подтверждено соответствующими тестами. Одним словом, новые силы духа создали новую личность. Следовательно — совершенно серьезно утверждал мой калифорнийский коллега, — дух есть не что иное, как гормон щитовидной железы.

Или возьмем другой пример. Есть люди, страдающие довольно своеобразным заболеванием: все кажется им бесконечно чуждым, и даже сами себе они кажутся чужими. Мы, психиатры, в таких случаях говорим о ярко выраженном отчуждении, или о синдроме деперсонализации. Он проявляется при самых разных душевных заболеваниях, однако сам по себе является достаточно безобидным. Я мог бы показать, что во многих случаях это нарушение психического здоровья человека вызывается явным недостатком выработки гормона надпочечными железами. Нормальное чувство персонализации, то есть нормальное осознание собственного Я, при нормализации выработки указанного гормона появляется вновь. Но из всего сказанного я бы не стал делать вывод о том, что личность человека, его Я, является не чем иным, как гормоном надпочечных желез.

При более детальном рассмотрении проблемы можно легко установить, каких ошибочных умозаключений нам следует остерегаться, когда речь идет обо всех взаимоотношениях духа и тела: мы должны научиться точно отличать причину от следствия. И хотя нормальное функционирование щитовидной железы и надпочечников является необходимым условием нормальной человеческой телесной и духовной жизни, однако ни в коем случае не следует считать, что все духовное в человеке создается теми химическими процессами, благодаря которым осуществляется выработка гормонов организмом.

Я только что упомянул термин «организм». Под этим термином следует понимать всю совокупность органов человека, все его, так сказать, приборы и инструменты. Включить и духовное это понятие нужно в человеке — о чем я только что говорил, подчеркивая, что духовное не может быть создано с помощью химических процессов и не может быть объяснено ими. Употребляя известное сравнение, можно сказать, что все духовное ведет себя по отношению к физическим органам так же, как виртуоз — к своему инструменту. Для развития человеческой души правильно функционирующее тело является точно таким же основным условием, как и наличие у виртуоза прекрасного инструмента. Виртуоз крайне нуждается именно в таком инструменте, поскольку полностью зависит от него; даже самый блестящий исполнитель, первоклассный мастер своего дела, ничего не сможет извлечь из плохого инструмента и даже, например, из хорошего, но плохо настроенного рояля. Что же нужно делать, если рояль расстроен? Ответ прост — нужно вызвать настройщика, который вернет инструменту его великолепное звучание. Очевидно, что может сбиться настрой не только у музыкального инструмента, но и у человека. Он в этом случае находится в расстроенных чувствах, впадает в состояние депрессии. И что тогда? Как вернуть человека к хорошему настрою? В некоторых случаях психиатры успешно лечат подобных пациентов с помощью электрошока, возвращая в его душу такое важное качество, как любовь к жизни, умение радоваться ей. Однако делать вывод о том, что новая радость жизни идентична электричеству, столь же неразумно, сколь и утверждать

— как в предыдущем случае, — что новые душевные силы идентичны гормону щитовидной железы.

К подобного рода опрометчивым выводам многих склоняет не только так называемая психохимия, использующая различные химические препараты, которые можно считать лишь *необходимым (но отнюдь не достаточным)* условием нормальной психики человека; но и то, что определяется термином «психохирургия», соблазняющее многих тем, что Л. Клагес называл «суеверной трактовкой человеческого мозга». Безусловно, с помощью хирургических операций на головном мозге можно создать условия, при которых возможна только нормальная психическая жизнь; эти условия можно изменять в сторону улучшения, то есть в любом случае нормализовать работу мозга именно там, где произошли болезненные процессы. Но и скальпель нейрохирурга никогда не коснется души человека! Подобное предложение может сделать лишь воинствующий материалист. Человеческий мозг не является обителью духа, человеческой души, и Клагес совершенно справедливо указывает на то, что задача исследования головного мозга состоит не в том, чтобы отыскать «место, где обитает человеческая душа», а в поисках церебральных условий протекания различных психологических процессов. Он приводит в качестве примера следующее сравнение: кто-то в освещенном электрическими лампами помещении вывернул предохранительную пробку; никому же не придет в голову, справедливо замечает Клагес, считать место, в которое ввернута пробка, «обителью» света.

Однако из того факта, что человеческий мозг нельзя считать местом обитания души, ни в коем случае не следует делать скоропалительный вывод: следовательно, души вообще не существует. Подобный метод аргументации наводит меня на давнее воспоминание: в процессе открытой дискуссии один молодой рабочий спросил меня, могу ли я показать ему какую-нибудь человеческую душу, ну например, с помощью электронного микроскопа. (Должен упомянуть, что он вообще не верил в существование души.) Я задал этому рабочему встречный вопрос: «Почему же он так заинтересован в доказательстве существования души при помощи микроскопа? и получил ответ: «Из-за стремления найти истину». Тогда мне пришлось задать ему еще один вопрос: «А Ваше стремление к истине — что это: что-то телесное или что-то духовное?» И он вынужден был согласиться: да, это что-то духовное. Кратко резюмируя этот обмен мнениями, скажу: то, что искал и никак не мог найти этот юноша, давным-давно известно как решающее условие любого поиска.

Человек — только ли продукт наследственности и социальной среды?

Не стоит слишком уж драматизировать ситуацию, наблюдая, какие бесплодные попытки делаются в настоящее время для того, чтобы помочь человеку справиться с материальными трудностями и, в особенности, с тяжелыми психологическими нагрузками. Каким же образом пытаются это сделать? За исходный фактор этих усилий берут установку, согласно которой человек, в конечном счете, — это продукт двух сил, двух составляющих: с одной стороны, наследственности, с другой — окружающей среды. В прежние времена об этих двух составляющих человека сказали бы короче и проще: кровь и земля. И я очень хорошо вижу, что все делающиеся в последнее время попытки подойти к проблеме личности с изложенной выше точки зрения обречены на провал именно потому, что подлинная сущность человека — личность как таковая — не может быть объяснена с помощью подобного подхода. Следуя этим путем, я думаю, не удастся ни понять сущность человеческой природы, ни, тем более, ее изменить. Потому что мы не забыли, что человеческое в человеке на протяжении длительного времени было совершенно исключено из поля зрения — столь же долго, сколько мы говорим о человеке как о едином продукте: является ли он в своей поведенческой сущности результирующей параллелограмма сил, составляющими которого нужно считать его наследственные корни (наследие) и окружающую среду...

Само собой разумеется, что каждый человек зависит как от своего собственного «устройства», так и от обстановки, которая его окружает, и он может свободно перемещаться только в пределах того жизненного пространства, которое предоставляют ему оба этих фактора. Внутри этого «игрового» пространства свобода его передвижений не ограничена ничем, и эту свободу ни в коем случае нельзя упускать из виду, говоря о сущности человеческой природы. Забывать о том, что сам человек совершенно свободен в своем поведении, — значит совершить серьезную ошибку. Поскольку физическую конституцию и умственные способности человека мы не в силах изменить, остается обратить свои взоры на окружающий мир. Однако и его мы можем изменить лишь в незначительной степени, причем на это потребуется много времени. Следовательно, мы непременно придем к фатализму, если будем считать наследственные гены и окружающую среду движущими силами человека, упустив при этом из виду решающее обстоятельство: человек —

хозяин своей судьбы. Каждый хозяин — а в нашем случае мы ведем речь о человеческой личности — является по самой своей сути духовным существом и поэтому свободным и отвечающим за свои поступки.

Мы оставим пока в стороне его свободу; лишь изредка возвращаясь к этой теме, мы поговорим прежде всего о ложном могуществе наследия и окружающей среды — мы возвысим свой голос в защиту силы человеческого духа!

Каждый человек *имеет* эту силу. Даже самые точные, скрупулезные научные исследования лишь подтверждают свободу человеческой личности, рассматривая эту проблему с разных точек зрения. Известный ученый, занимающийся теорией наследственности, Фридрих Штумпфл, считал, что, несмотря на огромные средства, вложенные в так называемую глубинную психологию, психиатрию, в изучение наследственности и окружающей среды, конечные результаты этих исследований были просто-таки ничтожными. Ибо, продолжает Штумпфл, с помощью этих исследований человека, связанных с его мотивационными побуждениями, строением тела, функциями организма, генами наследственности, мы усиленно хотим доказать, что человек — это продукт наследственности и окружающей среды. Что же можно, в конце концов, противопоставить всем этим многолетним усилиям? Такой вопрос задал в конце беседы Штумпфл, и сам дал на него удивительный ответ: образ свободного человека.

Обратимся теперь к тем близнецам, о которых поведал миру знаменитый исследователь профессор Ланге: двое так называемых однояйцевых близнецов имели совершенно одинаковые наследственные корни. Один из упомянутых близнецов, побуждаемый, видимо, действием генов, стал неслыханно дерзким, умным и опасным преступником. А что же стало с его братом — имевшим, заметьте, те же самые наследственные гены; что же его брат сделал из себя самого? Оказалось, что он был таким же необычайно умным и хитрым, как и его брат, но только не как криминальная личность, а как криминалист. Я думаю, никто не станет спорить, что подобное расхождение в жизни: криминальная личность или криминалист — является решающим, оба близнеца выбрали в жизни совершенно разные пути, и этот выбор оказался полярно противоположным, несмотря на одинаковый «старт». Поэтому мы делаем следующее утверждение: существует третий фактор; помимо физической конституции и обстановки, то есть помимо наследственности и окружающей среды, — существует *решение* человека, и оно освобождает его от указанной выше зависимости.

Позвольте мне теперь привести случай из своей собственной жизненной практики. Одна пациентка, страдавшая тяжелыми нервными расстройствами, рассказала мне о своей сестре-близняшке — снова речь пойдет об однояйцевых близнецах, — которая, конечно же, имела те же самые наследственные гены. Подобный вывод может сделать даже дилетант. Так вот, пациентка сообщила мне, что и она и ее сестра имеют совершенно одинаковый характер вплоть до мельчайших деталей, до самых тонких нюансов, будь то композиторы, которых они обе предпочитают, или просто какие-либо мужчины. И лишь одно различие между сестрами было весьма заметным: одна из них страдала нервными расстройствами, другая же была веселым, хорошо приспособленным к жизни человеком — ни больше ни меньше. Однако это столь существенное различие дает нам полное право развенчать традиционный фатализм, связанный с верой в предначертанность судьбы, порождающей тенденцию сидеть сложа руки и ждать, что же теперь с тобой случится. Мы должны приложить еще много усилий, чтобы каждый, независимо от того, врач он или воспитатель, сделал все возможное, чтобы провозгласить могущество человеческой свободы, оставив в стороне вопросы судьбоносного наследия и влияния окружающей среды. Может быть, мы вообще очень скоро придем либо к значительному обесцениванию роли наследственных корней, либо к полному ее отрицанию. Но отбрасывая ту или иную теорию, необходимо взять все ценное, что есть в ней. Насколько же прав был великий Гете с биологической и психологической точек зрения, с точки зрения изучения вопросов наследственности, когда сказал: «Природа не наделила нас ни пороками, которые не могли бы стать добродетелями; ни добродетелями, которые не могли бы превратиться в пороки».

Что ж, я думаю, мы уделили проблеме наследственности достаточно внимания. Поговорим теперь о другом важном факторе, определяющем судьбу человека настолько, что о его собственной свободе — как принято считать — не может быть и речи. Другими словами, как обстоит дело с влиянием окружающей среды? Вспомним известное утверждение Зигмунда Фрейда: «Давайте подвергнем испытанию голодом группу совершенно разных людей; чем больше будет возрастать их потребность в продуктах питания, тем сильнее будут стираться все их персональные различия, а на их место встанет отчетливый первобытный инстинкт голодного человека». Впрочем, оставим в покое Фрейда. В нашем веке — и это не секрет — миллионы людей принимали участие в подобном «эксперименте». Достаточно вспомнить лагеря для военнопленных или концлагери. Заключенные из всех сил противились своему концу — как окончательному результату этого «эксперимента», — но они боролись за свою жизнь так, как об

этом говорил в своем заключительном слове профессор Штумпфл, подводя итог разговору о результатах исследования наследственности. Еще раз хочу подчеркнуть, что результаты этих двух отнюдь не научных экспериментов были одинаковыми: то, благодаря чему люди сохраняли человеческое достоинство (и чему все мы были свидетелями), — это способность человека самостоятельно принимать решения. У военнопленных и заключенных концлагерей хотели отнять всё, но не сумели отнять самое главное — свободу, которая позволяла им принимать нужное решение в том или ином случае. И отнюдь не каждый из них был превращен голодом в зверя — что часто утверждается во многих недостоверных рассказах. Да, были некоторые мужчины, дрогнувшие, сломленные жизнью в лагерных бараках. Но таких было мало. Как правило, на лагерных переключках люди делились друг с другом и добрым словом, и последним куском хлеба. Об этом вспоминает почти каждый военнопленный, прошедший ужасы лагерей. Следовательно, не может быть и речи о том, что любое заключение под стражу, любой лагерь, вообще любое воздействие окружающей среды на человека — полностью и однозначно определяет его поведение.

Безусловно, я не буду спорить с тем, что именно в заключении и именно в состоянии голода всегда проявляется потребность человека в чьей-нибудь поддержке. Эту мысль подтверждает полученное мной письмо одного американского психиатра, который попытался исследовать, как вели себя и были ли стойкими все американские солдаты, побывавшие в плену у японцев; к тем факторам, которые способствовали выживанию в плену, принадлежали и обмен мнениями о событиях в мире, и окрашенный в оптимистические тона разговор о будущей жизни. Этот человеческий опыт можно сравнить лишь с мудрым изречением Ницше, который утверждал: «Человек, который знает, зачем нужно жить, вытерпит практически любые невзгоды». К таким невздам относится, конечно же, и голод.

Мне очень хочется пригласить к участию в данном разговоре тех студентов (их было 36 человек), которые по приглашению Университета штата Миннесота участвовали в полугодовом эксперименте, во время которого всех их посадили на голодный паек, причем этот паек соответствовал дневному рациону людей во время последнего года Второй мировой войны в Европе. В течение всего этого эксперимента проводилось как психологическое, так и терапевтическое обследование студентов. Довольно быстро многие из них стали обидчивыми и раздражительными, что свойственно голодным людям. Спустя примерно пять месяцев некоторые студенты были довольно близки к отчаянию. Однако несмотря на возможность в любой момент прервать эксперимент — ни один из них не сделал этого. И здесь я хотел бы сделать решающее замечание: когда у человека есть сильная мотивация к какому-нибудь действию, когда он считает, что в этом есть смысл, — человек может стать сильнее любых внешних обстоятельств и собственного внутреннего состояния; он сумеет преодолеть их, и внутри того жизненного пространства, которое предоставлено ему судьбой, он — свободен.

И эта свобода человека лишь подтверждается современной наукой, многими скрупулезно выполненными и хорошо организованными исследованиями ученых-медиков. И когда сегодня многие говорят о том, что клинические результаты опытов, а также исследования проблем наследственности, эксперименты в области нейрохирургии, биологии, психологии и социологии якобы доказали, насколько зависим от многих факторов и попросту слаб человеческий дух, истина лежит как раз в обратном: в результате всех клинических исследований была выявлена *непреклонная сила человеческого духа*. И сегодня слова, сказанные более ста лет назад виднейшим представителем медицинской школы бароном фон Фойхтерслебеном, звучат так же актуально, как и в те дни. Еще раз вдумайтесь в то, что сказал барон: «Медицину очень часто упрекают в том, что она обнаруживает явную склонность к материализму, то есть к мировоззрению, отрекающемуся от человеческого духа; но этот упрек абсолютно несправедлив. Ибо ни у кого нет большего стремления определить силу человеческого духа, чем именно у врача, хорошо знающего слабость человеческой материи; и если врач так и не овладел этими знаниями, то это вина не науки, а его самого, поскольку именно он не уделил достаточного внимания этому важнейшему вопросу».

Страх человека перед самим собой.

Хорошо известно, что наше столетие называют столетием страха. В первую очередь речь идет о страхе человека перед завтрашним днем. К чему еще может относиться страх человека — это уже следующий вопрос. Ответ на этот вопрос пытается дать современная философия экзистенциализма, которая считает, что в конечном счете все страхи человека являются страхом перед небытием.

Психотерапевты уделяют вопросу страхов человека большое внимание. Все невропатологи прекрасно знают, какую огромную роль играет страх в жизни каждого человека. Обычно этот страх относится ко всем факторам, которые могут угрожать жизни человека, и здесь прежде всего следует назвать страх перед мучительной смертью. То, что врачи называют ипохондрией, есть не что иное, как концентрация страха человека на каком-либо одном органе, так сказать, фокусе возникновения гнетущего чувства страха.

В те мгновения, когда человек испытывает страх не перед вечностью, а скорее перед чем-то конкретным, определенным, перед каким-то недугом; в те мгновения, когда он фокусирует все свое внимание на возникшем заболевании, думая только о нем, страх сменяется постоянной тревогой. Впрочем, различие между этими понятиями, которые первым ввел создатель психоанализа Зигмунд Фрейд, а впоследствии использовал и Кьеркегор, отец философии экзистенциализма, практически исчезло.

Страх человека перед болезнями нужно выделить в особую категорию. Этот страх часто и является причиной заболевания, он как бы призывает то, чего как раз и боится человек. Существуют доказательства того, что большинство случаев смерти человека в воде объясняется именно *страхом* утонувшего перед таким концом. Если считать желание отцом замысла, то можно сказать, что страх — мать события. Это справедливо и для случаев самых различных заболеваний. То, что вызывает тревогу человека, чего он со страхом ожидает, то и возникает как событие, происходит, случается с ним — называйте это как хотите. У того, кто постоянно боится покраснеть, сразу же появляется краска на лице. У того, кто постоянно боится вспотеть в неподходящий момент, страх немедленно вызывает выделение пота. Невропатологи хорошо знают этот механизм действия страха перед ожиданием неприятных событий. Причем в данном случае возникает замкнутый круг: сначала какое-нибудь легкое нарушение здоровья, которое быстро прошло бы, не обрати на него человек никакого внимания, вызывает у него страх; страх резко усиливает это нарушение, а развившийся недуг порождает у этого человека еще большее чувство страха. Дьявольский круг замкнулся, и человек будет находиться в нем по крайней мере до прихода врача.

Колдовское начало этого замкнутого круга состоит в том, что замешенное на страхе беспокойство за свое здоровье приводит к интенсивному самокопанию. Вспомним людей, страдающих заиканием: они изо всех сил стараются следить за своей собственной речью, но этот самоконтроль приводит лишь к тому, что их речь становится еще более прерывистой. Или другой пример: люди, делающие неимоверное усилие для того, чтобы заставить себя заснуть; напряженные попытки сосредоточить все свое внимание на процессе засыпания дают прямо противоположный эффект. Правда, может случиться и так, что процесс нормального засыпания постоянно нарушается мыслью: «Постой-ка, перед тем как лечь спать, я, кажется, собирался еще кое-что сделать». Нужно прогнать от себя подобные мысли, расслабиться и спокойно заснуть.

К чувствам, перед которыми испытывают страх нервные люди, относится сам страх. Невропатологи говорят в таком случае о страхе перед страхом. Видимо, именно такой страх имел в виду один невротик, который, беседуя с Ф. Д. Рузвельтом, сказал: «Я ничего не боюсь так сильно, как самого страха». Хорошо известна такая болезнь как агорафобия, или боязнь пространства. В разговорах с этими пациентами в большинстве случаев выясняется, что они больше всего опасаются сердечного приступа или кровоизлияния в мозг (а иногда просто коллапса), в результате чего они могут упасть прямо на улице.

Подобно тому, как многие невротики испытывают страх перед страхом, многие нервные люди боятся непредсказуемости каких-либо событий и своих навязчивых идей. Эти люди считают свои навязчивые идеи серьезными симптомами психического заболевания. Такие достойные всяческого сочувствия люди видят себя, как они обычно выражаются, сидящими в кровати, на которой установлены решетки.

Для невротиков, испытывающих страх перед неизбежностью событий, все это чрезвычайно трагично. Наряду с людьми, которые в любом случае как бы застрахованы от серьезных нарушений психики, существуют и люди, страдающие от своих навязчивых идей или весьма склонные к этому. Однако болезненный гипертрофированный страх перед возможными нарушениями психики *является*, по сути дела, *навязчивой идеей*, и все люди, страдающие навязчивыми идеями, должны иметь в виду, что именно неврозы страхуют их от психозов, делают их невосприимчивыми к психозам, так что они могут быть совершенно уверенными в том, что у них никогда не появятся вследствие этого какие-либо нарушения психики.

Но люди, страдающие навязчивыми идеями, испытывают страх еще перед одним обстоятельством: они боятся того, что начнут взывать о помощи где-нибудь в театре или в церкви; они боятся остаться в одном помещении с другими людьми, боятся, что они могут напасть на этих людей, — поэтому от таких пациентов нужно в любом случае держать как можно дальше ножи,

вилки, ножницы и другие опасные предметы. Люди, страдающие навязчивыми идеями, испытывают страх перед открытыми окнами, расположенными на верхних этажах зданий; они боятся, что выпрыгнут из окна, повинувшись внутреннему импульсу. Со всеми перечисленными мною иллюзиями, возникающими у данных пациентов, можно и нужно бороться. Кстати, среди множества людей, покончивших жизнь самоубийством, нет ни одного, кто сделал бы это, повинувшись навязчивому импульсу — то есть осуществив свою навязчивую идею. Насколько мне известно, еще ни один человек, одержимый какой-либо навязчивой идеей, не схватил другого человека за горло, не тронул другого человека даже пальцем.

Закончим наш разговор о страхах человека его страхом перед небытием, страхом перед собственной смертью. Но небытие, которого так страшится человек, находится не только вне человека, но и заключено в нем самом. Именно перед этим внутренним небытием человек испытывает страх, и из страха перед самим собой он бежит от самого себя: он бежит от одиночества, так как одиночество означает — быть всегда наедине только с самим собой. А когда человек бывает вынужден остаться наедине только с самим собой? Когда резко ослабевают или полностью прекращаются его связи с какими-либо общественно полезными делами. Например, в конце недели, то есть в выходные дни. Одинокое выходные — так назывался нашумевший проникнутый тоской шлягер — пользуются весьма дурной славой, так как именно в эти дни происходит наибольшее количество самоубийств, к которым людей подтолкнул не только шлягер оборотистого музыкального издательства. Невропатологи хорошо знают подобные симптомы психического заболевания, которое они называют неврозом выходного дня.

При этом речь идет о чувстве, навеянном пустынной местностью, вообще пустым пространством, внутренней пустотой и ощущением бессмысленности жизни, которые охватывают человека именно тогда, когда затихает его трудовая деятельность, наполненная в течение рабочих дней самыми разнообразными заботами. Данное переживание бессмысленности и бессмысленности всех усилий я назвал экзистенциальной фрустрацией, то есть невыполнимостью наиболее присущего человеку желания смысла. Данное желание смысла я противопоставляю желанию власти, которое в философии индивидуализма ярко проявляется в форме стремления к тщеславию. И это желание смысла я также противопоставляю второму человеческому желанию, а именно желанию удовольствий, в явном господстве которого, в виде фрейдовского принципа удовольствия, так убежден психоанализ. Рассматривая невроз выходного дня, мы убеждаемся в том, что именно в тех случаях, когда желание смысла полностью сводится к нулю, поскольку остается неосуществленным, на первый план выходит желание удовольствий, а собственная экзистенциальная неустраиваемость человека вредит его сознательному отношению к жизни и прядется от его собственной совести. То, что экзистенциальная фрустрация в общем смысле этого понятия, а в особенности так называемый невроз выходного дня, может закончиться летальным исходом, то есть довести человека до самоубийства, — доказала научная работа гейдельбергского врача-терапевта Плюгге, который на примере пятидесяти суицидных попыток наглядно продемонстрировал, что они не были вызваны ни возникшими болезнями, ни тяжелым материальным положением, ни профессиональными, ни какими-либо другими конфликтами, а, как это ни удивительно, объяснялись лишь одним: крушением всех надежд, ощущением бессмысленности собственного существования, породившим безысходную скуку; или, другими словами, несбывшимся желанием наладить осмысленную, достойную человека жизнь.

Психическая гигиена для людей преклонного возраста.

В настоящее время все чаще слышны разговоры о так называемом интенсивном старении населения. Под этим подразумевается тот факт, что количество людей преклонного возраста постоянно растет, в то время как процент молодых людей в обществе, напротив, снижается. Я не буду здесь подробно останавливаться на тех политических, социальных и медицинских последствиях, которые влечет за собой указанный сдвиг процентного соотношения людей различного возраста в современном обществе, а попытаюсь оценить роль психотерапии и психической гигиены людей и поэтому уделю особое внимание лечению и профилактике психических заболеваний.

Редко какой-нибудь ответ на простой вопрос так метко попадает в точку, как ответ одной пожилой женщины, которую поместили в приют для престарелых и которую знакомые, посещавшие ее, однажды спросили: «Скажи нам, чем ты здесь занимаешь свое время?». И в ответ услышали: «Все очень просто: ночью я сплю, а днем хвораю». Что она хотела этим сказать? Да всего лишь то, что пассивное времяпрепровождение есть не что иное, как вяло текущая болезнь. Тот человек, в котором есть хоть малейшее желание не только просто существовать, но и принимать активное участие в жизни, хорошо знает, что *одно лишь бытие* — в жизни каждой

человеческой личности, которая достойна этого определения, — не может принести ей ни малейшей радости, ни малейшего удовлетворения. Человеческая жизнь, в собственном смысле этого слова, должна быть чем-то большим, чем просто «растительное» существование. Этим я хочу сказать, что всем без исключения людям должно быть свойственно стремление к осмысленной жизни, что в каждом человеке заложена с рождения потребность наполнить смыслом свое существование.

Когда стремление человека наполнить свое бытие смыслом, сделав свою жизнь полной и содержательной, остается нереализованным, человека начинают преследовать чувства собственной ненужности и пустоты; эта не востребованность в жизни начинает отрицательно сказываться на его здоровье, нарушая основные процессы жизнедеятельности его организма. Ни для кого не секрет, что люди, которые вышли на пенсию и не сумели возместить потерю своей профессиональной деятельности каким-нибудь равным ей в психологическом смысле занятием, в подавляющем большинстве случаев начинают болеть различными болезнями, испытывают чувство постоянной слабости и, потихоньку угасая, сравнительно рано покидают этот мир. Хорошо известно и прямо противоположное явление: сознательное бытие людей преклонного возраста, наполненное решениями разнообразных конкретных задач и в высшей степени личных проблем, не только оказывает крайне благоприятное влияние на психическое состояние таких людей, но и позволяет им избежать очень многих заболеваний, что, конечно же, намного увеличивает срок их жизни.

В доказательство этого утверждения я мог бы привести длинный ряд различных историй болезни, но вместо всех этих историй приведу известный случай из области литературы. Давайте вспомним, что великий Гете, находясь в весьма преклонном возрасте, усиленно работал над второй частью драматической поэмы о докторе Фаусте. После семи лет напряженнейшей работы он наконец завершил свой труд и поставил свою печать на дописанной рукописи — это было в январе 1832 года. А в марте 1832 года он скончался. Я думаю, что мы не будем слишком далеки от истины, если предположим, что Гете, которому в то время уже исполнилось 82 года, чувствовал приближение смерти, давно, если можно так выразиться, стучавшейся к нему в дверь. Но он сохранял страстное стремление завершить свое великое произведение — и смерть отступила. Точнее сказать, он отодвинул ее приход — до тех пор, пока поэма, которой он посвятил многие годы своей жизни, не была закончена. Напряженная творческая работа в течение семи лет помогла великому писателю побеждать смерть.

После данного экскурса, связанного с историями болезней и примером из жизни великого писателя, позволю себе сделать небольшое отступление. Мы часто слышим, например, что дрессированные животные, выступающие в цирке и выполняющие разнообразные трюки — можно сказать, решающие там поставленные перед ними задачи, — так вот, эти животные живут в среднем намного дольше, чем те их собратья, которых содержат в зоопарках, где они ведут пассивный образ жизни.

Но давайте вновь вернемся к людям и попытаемся на основе всего сказанного выше дать практические рекомендации. Можно смело утверждать — и это особенно подчеркивал профессор Штранский, неустанно доказывавший настоятельную необходимость психической гигиены для тех людей преклонного возраста, которые были вынуждены прекратить профессиональную деятельность, — что вышедшим на пенсию людям нужно обязательно дать шанс заниматься каким-либо другим, важным и полезным делом. В противном случае их так называемое пассивное бытие превратится в медленное умирание. Штранский убедительно показал, что активная, творческая жизнь людей преклонного возраста идет обществу только на пользу. Я могу лишь добавить к его словам, что подобная «востребованная» жизнь этих людей имеет чрезвычайно большое психологическое значение. По моему глубокому убеждению, любая творческая деятельность имеет огромную внутреннюю ценность, наполняя пожилых людей чувством смысла собственного существования вне зависимости от того, сколько именно лет им исполнилось.

К сожалению, очень многие люди считают абсолютно недоказанным, что чувство собственной полезности и радость бытия имеют столь важное значение в психологическом смысле. Попробую принести подобное доказательство. Я неоднократно сталкивался в своей жизни со многими случаями, относящимися к рассматриваемой теме, — я говорю о психологическом состоянии людей, потерявших работу, об описанном мною выше *неврозе безработицы* и о связанных с этим неврозом терапевтических мерах.

В 1933 году, во времена мирового экономического кризиса, два австрийских психолога — Лазарсфельд и Цейзель — опубликовали в медицинском журнале статью о безработных Мариенталля. В той статье они убедительно показали, какое пагубное, просто-таки разрушительное влияние может оказать безработица на психическое здоровье людей. Правда, в конечном счете, эта публикация лишь подтвердила то, что сказал Паскаль триста лет тому назад. В одном из его

философских трактатов есть такая фраза: «Ничто так не отравляет жизнь человека, как отсутствие у него задач и целей». При ближайшем рассмотрении это утверждение оказывается столь же справедливым, как и тезис, о котором уже шла речь; правда, в то время как Паскаль говорил о разрушительном влиянии на психику отсутствия у человека жизненных задач и целей, я, продолжая его мысль, исхожу из того, что *не существует ничего другого, что помогало бы человеку преодолевать жизненные трудности, кроме его сознательного стремления служить определенному делу.*

В рамках тех исследований, которые я сделал, изучая невроз безработицы, этот тезис полностью подтвердился. Правда, предметом этих исследований были преимущественно молодые люди, которые — по причине отсутствия у них работы — находились в состоянии тяжелой депрессии. Мне часто говорят, что причина этой депрессии слишком уж очевидна и для этого не нужны никакие исследования. Может быть, это и так, но я хотел бы обратить внимание своих читателей прежде всего на то обстоятельство, что подобная депрессия никогда не сохраняется так же долго, как и ее видимая причина, то есть безработица, и что ее легко можно преодолеть, не дожидаясь, пока подвернется хоть какая-нибудь работа. Я хочу сказать, что это гнетущее состояние прекращается сразу же, как только юноши (или девушки) начнут заниматься общественно полезной работой, всецело отдавшись этому новому делу, например, в системе народного образования, в общественной библиотеке или в какой-либо молодежной организации. Так или иначе, но к ним в конце концов может вернуться чувство служения людям; они осознают, что отдают свои силы хорошему делу, и больше не будут ощущать себя никому не нужными людьми. Довольно часто я слышу от таких молодых людей следующую фразу: «Да, мы во многом нуждаемся; но это не связано только с деньгами: мы хотим понять, для чего мы родились на этот свет, постичь смысл своей собственной жизни». Но ведь смысл жизни можно постичь — и это самое главное — независимо от того, как ты добываешь хлеб свой насущный и ходишь ли ты регулярно на службу. И очень многие из тех, у кого постоянно урчит в животе, ибо они по-прежнему не могут найти работу и поэтому питаются очень плохо, все же, несмотря ни на что, сумели найти смысловой стержень жизни и благодаря этому справились со своей депрессией.

Возвращаясь к психологическим установкам, о которых говорил Штранский, могу сказать, что я смотрю на жизнь оптимистично, поскольку я убежден: все люди преклонного возраста в состоянии вернуться к полнокровной жизни и справиться с подкрадывающейся к ним депрессией, и это ни в малейшей степени не зависит от того, имеют ли они оплачиваемую работу или занимаются общественно полезной деятельностью.

Итак, с точки зрения психолога, не слишком важно, молод человек или стар, и если стар, то насколько; гораздо более важен вопрос, заполнены ли его время и его душа тем делом, которому данный человек может посвятить в данный момент свою жизнь; сумел ли человек, несмотря на свой возраст, сохранить тягу к радостной, наполненной событиями жизни, ибо, говоря словами поэта, «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». И совершенно не имеет никакого значения, связана ли деятельность человека, дающая ему осознание смысла собственного бытия, с денежным вознаграждением, или нет; с точки зрения психологов, основополагающим и, можно сказать, решающим является вопрос, который заключается в том, пробуждает ли эта деятельность в человеке, несмотря на его преклонный возраст, сильное желание быть — *быть для кого-то или для чего-то.*

Психическая гигиена для людей среднего возраста.

Когда мы обсуждали проблемы психической гигиены людей преклонного возраста, я поневоле был вынужден касаться проблем, стоящих перед лицами мужского пола. Говоря о проблемах, которые волнуют людей, находящихся в самом расцвете сил — я буду называть их людьми среднего возраста, — основное внимание уделим лицам женского пола. Многие «женские» проблемы волнуют прежде всего женщин «бальзаковского возраста», поскольку очень хорошо известен страх женщин, который они испытывают перед приближением этого «критического», или, как его иногда называют, «опасного» возраста. В основе этого страха, как правило, лежит смешение понятий «зрелая женщина» и «пожилая женщина». Это приводит к тому, что женщины не только со страхом ожидают определенного момента в своей жизни, но и просто-таки впадают в панику, полагая, что именно с этого момента они начнут стремительно стареть.

В известном смысле это соответствует действительности; но если хорошенько подумать, мы все начинаем стареть слишком рано. Известный психолог Шарлотта Бюлер утверждает, что мы начинаем стареть, когда наш физиологический организм достигает определенного уровня развития, хотя наша жизнь, если говорить о человеке как о духовно развитой мыслящей личности,

лишь только начинает приближаться к своей вершине. Говоря другими словами: в биологическом смысле наше здоровье начинает ухудшаться, и этот процесс сопровождает нас на протяжении всей нашей, так сказать, оставшейся биографии. Тот человек, который впадает в панику при виде «захлопывающихся дверей», забывает, что открываются новые двери взамен захлопнувшихся старых, и эти новые двери — это новые возможности, открывающиеся перед человеком. И лишь молодые женщины, прилагающие неимоверные усилия для того, чтобы любой ценой выглядеть еще более юными, повторяю, только такие женщины имеют определенные основания испытывать страх перед наступающей старостью.

Следует сказать, что страх перед наступлением определенного возраста сродни страху перед страхом вообще. Как я уже говорил, все страхи являются в конечном итоге страхом перед наступлением смерти. Мне хотелось бы дополнить это утверждение и продолжить эту фразу так: страх перед смертью есть, по сути дела, страх перед собственной совестью. Развивая эту мысль дальше, я утверждаю: существует такое понятие, как страх перед собственной нечистой совестью, который вызывается не столько какими-либо предосудительными поступками и негативным образом жизни, сколько осознанием того, что в жизни были упущены многие предоставлявшиеся судьбой шансы и не реализованы многие проекты.

Теперь давайте вспомним о том, что я говорил о стремлении к смыслу; о том стремлении к смыслу, которое мы противопоставляем стремлению к удовольствиям (то есть принципу удовлетворения желаний, с точки зрения психоанализа), а также и стремлению к власти (основополагающему принципу психологии индивидуализма). Мы должны ясно понять, что все эти стремления — и в первую очередь, конечно, стремление к смыслу, — которые не удалось реализовать, подвергают человека в глубокое уныние, особенно когда он вспоминает об упущенных возможностях, предоставленных ему жизнью.

Среди тех возможностей, которые жизнь предоставляет женщине, стремящейся сделать свое существование осмысленным, следует особо выделить две: выйти замуж и стать матерью. С полной уверенностью можно сказать, что в данном случае речь идет о двух ценностях. Но горе тем женщинам, которые, не сумев реализовать эти две относительные ценности, две указанные выше возможности наполнить свою жизнь смыслом, стали считать их абсолютными ценностями, другими словами, слепо поклоняться им. Женщина ни в коем случае не должна считать возможности стать супругой и матерью единственно ценными, ибо существуют и другие ценности. Мы уже говорили об этом, и можно еще раз подчеркнуть, что поклонение любому кумиру тяжело сказывается на человеке, приводя его в состояние отчаяния, и наоборот: отчаяние есть следствие поклонения избранному кумиру.

Как правило, женщина не скрывает, какое огромное значение она придает этим двум ценностям. К сожалению, многие женщины так никогда и не выходят замуж и не имеют детей. И очень скоро многие из этих «лишних» женщин начинают считать себя совершенно ненужными, свою жизнь — бесполезной и свое бытие — бессмысленным; поскольку они абсолютно уверены в том, что жизнь женщины без мужа и детей не имеет ни малейшего смысла. И тогда вопрос о том, лишит ли себя жизни женщина, которая так думает, или нет, — это просто вопрос личных черт ее характера. Чаще всего женщины кончают жизнь самоубийством тогда, когда они окончательно убеждают себя в том, что эти ценности, которым они столь слепо поклоняются, недостижимы. Однако в том случае, когда женщины перестают боготворить эти ценности, отчаяние покидает их навсегда.

К счастью, лишь очень немногие женщины доводят себя до той степени глубочайшего отчаяния, которая толкает их на самоубийство; большинство из них все же не делают этого рокового шага и избирают другие пути — пути бегства от страданий. Первый путь, идя по которому можно избежать отчаяния, — это путь самодевальвации ценностей, подавление чувства неосознанной зависти. Ничто так не отравляет жизнь, как неосознанная обида неизвестно на кого, неосознанная зависть — неизвестно к кому, которые похожи по своему «вкусу» на зеленый виноград. Нельзя смотреть завистливыми глазами на чужую любовь, чужую близость, чужих детей, ибо в этом случае мы имеем дело с тем, что называется *черной* завистью, которая губительно влияет на душу человека. Говоря о черной зависти, я имею в виду прежде всего определенный тип истеричных старых дев, а также тех женщин, в характере которых причудливо перемешаны застенчивость и чувствительность, жеманство и похоть.

Отчаяние покидает женщин, так и не вышедших замуж и не родивших ребенка, лишь в том случае, если они *сознательно* отказываются от приобретения этих ценностей. Мало лишь заявить об этом, нужно совершить этот отказ, проделав над собой довольно трудную работу, то есть потребовать от себя отказа от названных ценностей. Я хочу еще раз подчеркнуть, что этот тяжелый труд, связанный с преодолением стремления завести семью и родить ребенка, и есть именно то единственное средство, которое избавит женщину от слепого поклонения кумирам и

убережет ее от отчаяния. Легче всего отказаться от названных ценностей, убедив себя в том, что эти ценности являются весьма и весьма относительными.

Заканчивая свои абстрактные рассуждения, я хотел бы подкрепить их конкретными примерами, процитировав старую китайскую поговорку: «Каждый человек в своей жизни должен посадить дерево, написать книгу и родить сына». Если принимать эту китайскую мудрость всерьез, то большинство мужчин должны были бы немедленно впасть в глубочайшее отчаяние и, сделав над собой усилие, покончить жизнь самоубийством, поскольку лишь очень немногие мужчины посчитали бы, что их жизнь течет правильно и наполнена истинным смыслом: если мужчина посадил дерево, чего требует первая часть китайской поговорки, то он мог оказаться не в состоянии написать книгу, или у него родилась дочь, а не сын. Варианты могут быть самыми разнообразными. Но если оставить в покое вопрос посадки дерева, написания книги и рождения сына и вообще считать гораздо более важным не отцовство, а материнство, то мы должны признать: как бы ни была бедна наша жизнь, не существует никаких других возможностей сделать ее полноценной, кроме возможности наполнить ее смыслом. И поэтому я должен спросить: что же это была бы за жизнь, смысл которой ограничивался бы лишь тем, чтобы создать семью, нарожать детей, сажать деревья и писать книги?

Нет, конечно, никто не спорит с тем, что все вышеназванное — это ценности, действительные ценности; и все же они относительны; абсолютной ценностью следует признать лишь одну, и эта ценность — *повеления нашей собственной совести*. Именно наша совесть определяет при разнообразнейших условиях и обстоятельствах нашу судьбу — и так будет всегда; именно наша совесть требует от нас, чтобы мы в нужный момент изменили свои планы, чтобы мы взяли судьбу в свои собственные руки (там, где это возможно); но мы должны быть готовы и к тому, что судьба возьмет что-то и у нас — когда сочтет это необходимым, и в этом случае мы должны быть готовы перенести все, даже тяжелейшие страдания, которые уготованы нам непреклонной судьбой.

И в тот момент, когда мы принимаем вызов судьбы, будь то какие-то наши поступки или манера держать себя (в том случае, когда никакие поступки невозможны), мы так или иначе выполняем свой долг.

Если мы совершили какие-то дурные поступки, то благодаря правильной манере поведения все же можно придать им определенный смысл — речь в любом случае идет о такой манере поведения, которая позволяет нам осудить свои дурные поступки и тем самым вступить на новую ступень своего развития.

В этом случае человек больше не испытывает угрызений совести — ни положительных, ни отрицательных: ни тех, которые относятся к совершенным нами поступкам, ни тех, что касаются наших упущенных возможностей. И тогда, как по мановению волшебной палочки, исчезает и страх перед приближением «опасного» возраста, поскольку этот страх покоится на том «оптическом обмане», о котором я уже говорил: в большинстве случаев человек смотрит на широкое жнивье преходящего и упускает из виду полные амбары прошлого — он не замечает, как его все больше затягивает прошедшее бытие, которое человек считает не утерянным безвозвратно, а лишь спрятанным в надежное место до лучших времен.

Подведем итог всему сказанному выше: те люди, которых охватила паника при виде «закрывающихся дверей», причем эта паника достигла такой силы, что эти люди все чаще и чаще начинают подумывать о том, чтобы уйти из жизни, ни в коем случае не должны забывать, что двери, которые с грохотом захлопываются перед ними, — это всего лишь двери в полные амбары прошлого...

Такие люди не должны пропускать мимо ушей полные мудрости и утешения слова из Библии: «Да, тебя, как и всех, ждет впереди могила, но вспомни, что обмолоченный хлеб всегда засыпают в закрома в определенное время».

Сердечно-сосудистые заболевания.

Возникновение нового серьезного заболевания вызвало многочисленные дебаты среди ипохондриков. Многие из них все чаще начинают задавать себе вопрос, не страдают ли они «болезнью менеджеров», и этот вопрос нагоняет на человека почти такой же страх, как и вопрос, нет ли у него рака. Причина этого ипохондрического невроза страха, охватывающего все большее количество людей, заключается во все более широком распространении среди населения сердечно-сосудистых заболеваний, и в первую очередь гипертонии, которую называют болезнью руководителей или болезнью менеджеров. Это название можно объяснить преждевременным расстройством здоровья, как телесного, так и духовного, которое все чаще встречается у тех людей, на плечах которых лежит достаточно серьезная ответственность за свое дело и за судьбы

подчиненных; и подобные расстройства столь серьезны, что часто становятся причиной преждевременной смерти человека. Речь в данном случае идет не только о более или менее тяжелых, более или менее острых или хронических заболеваниях органов пищеварительного тракта, но в первую очередь об инфаркте миокарда и инсульте, а также о возникновении стойкого повышенного давления в системе кровообращения. Постоянный стресс, давящий на психику этих людей, их постоянное душевное напряжение оказывают крайне негативное влияние на кровеносные сосуды. К плохому состоянию кровеносных сосудов добавляются указанные выше заболевания желудка и кишечника, что вызывает органические изменения во всей кровеносной системе.

Для того чтобы успокоить чрезмерно напуганных этой опасностью людей, хочу подчеркнуть, что все эти формы заболеваний не только сравнительно легко поддаются лечению, но их можно и нужно вовремя предупредить. Чтобы это утверждение не было голословным и читатель понял, что это действительно так, придется начать издалека и определить место сердечно-сосудистых заболеваний в рамках общей медицинской теории. И мы легко убедимся в том, что гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания относятся к так называемым болезням цивилизации и «подарены» нам техническим прогрессом. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы меня считали человеком, проклинаящим технические достижения цивилизации. Во-первых, люди, винящие во всех человеческих болезнях технику, не принимают во внимание один важнейший фактор: они забывают о том, что подарил человеку технический прогресс. Тысячи слушателей имеют возможность проклинать технические новшества лишь с помощью именно той техники, которая предоставила им для этой цели микрофоны, магнитофоны, громкоговорители и т. п. Во-вторых, столь быстро входящие сегодня в моду проклятия в адрес технического прогресса — ярчайший пример неблагодарности. Ибо не следует забывать, что именно благодаря бурному развитию техники у медиков появилась возможность диагностировать, лечить и предупреждать множество самых различных заболеваний.

Кроме того, люди, рьяно нападающие на технический прогресс, упускают из виду одно решающее обстоятельство.

Они совершенно игнорируют вопрос о том, что же собой представляет сам человек. И здесь я хочу предоставить слово великому русскому писателю Достоевскому, который очень хорошо понимал, что такое человек. Достоевский говорил об этом так: «Человек — это существо, которое способно привыкнуть ко всему». Следовательно, мы должны сохранять надежду, что человек сумеет приспособиться к новым условиям жизни, которые он — в форме цивилизации — сам же себе и создал. Мнение скептиков, утверждающих, что человек не способен адаптироваться к этим новым условиям, опровергается многими хорошо известными фактами. Однако можно вспомнить, что в прошлом столетии многие государственные комиссии, созданные из медицинских специалистов, утверждали в своих заключениях, что человек никогда не сможет перенести без вреда для собственного здоровья те перегрузки, которые он испытывает при езде по железной дороге. И всего лишь несколько лет тому назад тревожно спрашивали, сумеет ли человек безболезненно выдерживать огромные скорости, когда он летит в самолете; особенно тогда, когда самолет преодолевает так называемый звуковой барьер. Там, где техника производила яд — яд в самом широком смысле этого слова, — человеческая мысль немедленно создавала соответствующее противоядие. Именно поэтому сначала перевозимый до небес, а потом рьяно осуждаемый технический прогресс привел к важнейшему завоеванию в медицинской области — к существенному увеличению средней продолжительности жизни современного человека. И все же, к глубокому сожалению, заболевания, типичные для людей преклонного возраста, стали встречаться намного чаще.

Однако не следует забывать еще один важный факт: статистика показывает, что за последние десятилетия медицина добилась неслыханных успехов в борьбе, например, с тяжелейшими инфекционными заболеваниями, включая столь широко распространенную ранее ужасную болезнь, как туберкулез. Однако начиная с 1921 года радость от всех этих успехов была омрачена резким увеличением случаев заболеваний и даже смерти, связанных с недоеданием многих слоев населения. Увеличилось и количество людей, получивших тяжелейшие травмы (или погибших) в результате автомобильных катастроф, однако основная вина за это ложится не на все более развивающуюся автомобильную промышленность, а на сознание людей, использующих автомобильную технику и пренебрегающих той опасностью, которая таится в ней.

Как утверждает Иоахим Бодамер, в настоящее время автомобиль является важнейшим показателем уровня жизни у людей, живущих в среднеевропейских странах, и среднестатистический европеец нередко покупает автомобиль, руководствуясь в первую очередь соображениями престижа; причем для того, чтобы приобрести самый шикарный автомобиль, так сказать, последний писк технической моды, он вынужден отказывать себе во многом, что необходимо для его здоровья. Одним словом: автомобиль начинает убивать человека задолго до

того, как он его приобрел. Заканчивая эту тему, я хотел бы подчеркнуть, что тщеславие в том или ином виде способно нанести вред человеку и при стремлении его к гораздо более высоким целям. Так, я знаю одного пациента, который, надрываясь на работе, совершенно не обращал внимания на свое здоровье. Обследовав его, я обнаружил, что это привело его к наиболее тяжелой форме «болезни менеджеров» из всех, которые известны медицине. Причем в данном случае терапевтическое исследование смогло указать лишь на возможную опасность возникновения данного заболевания, но когда пациент был обследован психотерапевтами, они установили, что этот человек слишком много времени и душевных сил отдавал работе — хотя он был очень богат и даже имел собственный самолет. Однако он считал, что этого мало и что он должен сделать все возможное, чтобы вместо имеющегося у него обычного самолета приобрести самолет с реактивным двигателем.

Но давайте отвлечемся от этого описанного мной единичного случая и поговорим об имеющихся возможностях профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Из всех мер профилактики и лечения я хотел бы особо порекомендовать следующие: 1) нужно по возможности избегать чрезмерного возбуждения; 2) обязательно наладить крепкий и достаточно продолжительный сон; 3) регулярно заниматься спортом или делать физические упражнения, давая себе значительную физическую нагрузку, то есть заниматься тем, что раньше называли компенсирующим спортом. Последняя данная мною рекомендация примечательна в двух отношениях. Во-первых, уже доказано, что возникновению заболеваний у человека способствует не столько чрезмерная физическая нагрузка, сколько то, что канадский ученый Селье называл стрессом; хотя при многих обстоятельствах к заболеваниям может привести и внезапное прекращение физических нагрузок. Невропатологам это известно уже очень давно. Мы очень хорошо знаем также, что очень многие люди, переносившие во время войны тяжелые физические и психические нагрузки — особенно те, кто находился в плену, — испытывали резкое ухудшение своего здоровья, как только эти нагрузки прекратились.

Рассматривая эту проблему с точки зрения врача-психиатра, не могу не упомянуть о том, что в психологическом плане возникновение болезней после снятия нагрузки очень похоже на так называемую кессонную болезнь: водолазу (или ныряльщику), поднявшемуся на поверхность с большой глубины, где он подвергался воздействию высокого давления, грозит серьезнейшее нарушение здоровья, если не будут приняты все меры к тому, чтобы предотвратить резкий перепад давления. То же самое можно сказать и о человеке, на которого изо дня в день давил тяжелый психологический груз, а потом он внезапно освободился от него.

А теперь давайте вернемся к той из моих рекомендаций, позволяющих предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, в которой говорится о необходимости регулярно давать себе интенсивную физическую нагрузку. В этом случае подтверждается одна старая народная мудрость, которая гласит, что именно там, где бродит какая-нибудь болезнь, можно найти те растения, которые помогут справиться с ней. Точно так же и в современную эпоху цивилизации, омраченную резким увеличением сердечно-сосудистых заболеваний, наблюдается серьезная тяга к спорту. Именно спорт может помочь человеку, которому угрожает болезнь, связанная с цивилизацией, то есть, как мы говорили, *яд цивилизации* дает одно из сильных *противоядий*. Однако сразу хочу предупредить: к тем видам спорта, которые способны исцелить человека, не принадлежит ни тот спорт, в котором человек принимает пассивное участие (например, слушая спортивные сводки по радио, наблюдая на экране телевизора за спортивными состязаниями), ни тот спорт, основной целью которого является установление рекордов.

Но оба этих крайних случая ничего не доказывают, и злоупотребления никогда не смогут опровергнуть истинного смысла предложенной рекомендации. И хотя при обсуждении всех вышеперечисленных проблем — болезней, связанных с цивилизацией; борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями; физических и психических нагрузок, компенсирующего спорта — могло показаться, будто бы человек и дальше будет совершать одну ошибку за другой, никогда не следует терять надежды, что этих ошибок будет все меньше и меньше.

Наркоанализ и психохирургия.

Начиная разговор о наркоанализе, хочу прежде всего сказать о том, что он известен широкой публике под абсолютно неправильным названием «сыворотка правды». Давайте зададим себе следующие вопросы: действительно ли речь идет о сыворотке и действительно ли с ее помощью можно установить правду? Ответы на оба вопроса должны быть отрицательными: отвечая на первый вопрос, нужно было бы сказать, что если в данном случае говорить о лекарственном термине, то речь идет не о сыворотке, а скорее о препарате, который, независимо от его

использования при наркоанализе, хорошо известен как снотворное, хотя, безусловно, его применяют в первую очередь как наркотик; а отвечая на второй вопрос, нужно было бы сказать, что с помощью наркоанализа удастся установить, во-первых, не всегда полную и, во-вторых, не всегда истинную правду.

О том, что же такое наркоанализ, и об его практическом применении в настоящее время можно узнать из многочисленных (иногда даже чересчур многочисленных) публикаций в различных газетах и иллюстрированных журналах.

Врач медленно вводит в вену, расположенную на локтевом сгибе, определенный медицинский препарат — настолько медленно и такое определенное количество, что пациент не сразу засыпает, а сохраняет вербальный контакт со своим врачом. Теперь врачу нужно подождать, чтобы у пациента, находящегося в состоянии полудремы, наступило внутреннее растормаживание (или, как еще говорят, расслабление), после чего пациент начинает говорить о том, о чем он хранил бы полное молчание в том случае, если бы к нему не был применен наркоанализ.

Если проследить исторические корни наркоанализа, можно установить, что они уходят и так называемый усыпляющий гипноз. В прежние времена пациента, состояние которого определяли как тяжелое, с терапевтической целью вводили в гипнотический сон, предварительно дав больному определенную дозу снотворного. Во время Второй мировой войны многие психиатры вернулись к этому методу. С помощью гипнотического сна, подкрепленного снотворным, они стали лечить многие неврозы, поскольку в их распоряжении не было ни достаточного количества времени для основательного психологического лечения, ни хорошо обученного медицинского персонала. Этот укороченный психотерапевтический метод и впоследствии применялся достаточно широко. Само собой разумеется, что армейских психиатров интересовала не столько проблема разработки каких-либо новых психологических приемов, сколько так называемое проявление психологических чувств действием. Последнее означает, что пациент, к которому применяется наркоанализ (то есть его искусственно вводят с помощью медикаментов в сумеречное состояние), начинает повторно переживать ту жизненную ситуацию, которая могла вызвать у него сильную психологическую встряску, например, серьезный конфликт с другими людьми или чувство страха, в котором он не желает признаваться даже самому себе. И это повторное переживание данной ситуации пациентом сопровождается такими ярко выраженными симптомами (громкие крики, озноб, дрожь, сильная потливость) и такими движениями души, которые пациент не проявлял во время первоначального, исходного переживания данной, приведшей его к психическому заболеванию ситуации, может быть, из чувства стыда или солдатского чувства чести.

Забудем на время о проявлении психологических чувств действия и вновь обратимся к выявлению бессознательных, вытесненных или просто утаиваемых обстоятельств. И здесь мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что при попытках выявить такие обстоятельства нельзя говорить об установлении ни полной, ни истинной правды. Почему нельзя говорить, что удалось установить полную правду? Потому что пациент (или, как говорят обычно психиатры, испытуемый), будучи подвергнут психоанализу, до самого последнего момента сохраняет способность по крайней мере умолчать о какой-либо частичке правды — и это доказано экспериментально. А почему нельзя утверждать, что пациент сказал истинную правду? Да по той причине, что испытуемый, будучи подвергнут психоанализу, необычайно легко поддается внушению, то есть в очень многих случаях он склонен отвечать как бы по заранее заданной программе: на определенный вопрос дает определенный ответ. И это тоже доказано экспериментально. Следовательно, проводящий наркоанализ психотерапевт, не осознавая сути происходящего, будет слышать в ответ на тот вопрос, который он задал испытуемому, лишь, так сказать, эхо этого вопроса. Нетрудно понять, что здесь не может быть и речи о каком-то чрезвычайно сильном побуждении к признанию: и если признание испытуемого действительно последовало, то психиатр ни в коем случае не может быть уверенным в том, что речь идет о признании, соответствующем на все 100 процентов истинному положению вещей. Это относится ко многим жизненным ситуациям; мне как врачу-психиатру не хотелось бы касаться юридических вопросов, но я вынужден это делать, тем более что существует довольно большое количество юридических документов, подтверждающих незаконность использования полицией или судебными органами наркоанализа, считая его нарушением прав человека. По той же самой причине доказательства, полученные в результате проведенного психоанализа, не должны приниматься во внимание судом при вынесении им того или иного решения.

А теперь поговорим о психирургии, которая представляет собой прямую противоположность наркоанализа. Если во втором случае речь идет об использовании инъекций медицинских препаратов, то в первом случае осуществляются определенные операции; если наркоанализ, осуществляемый в течение весьма непродолжительного времени, направлен в первую очередь на лечение неврозов, то с помощью психирургии человека избавляют преимущественно от

психозов, то есть не от так называемых нарушений состояния нервной системы, а в основном от заболеваний самой человеческой души. Выше я говорил о том, что выражение «сыворотка правды» является бессмысленным. То же самое можно сказать и о термине «психохирургия». Как будто нож хирурга сможет когда-нибудь прикоснуться к человеческой душе! Также и при нейрохирургических операциях скальпель никогда не проникает в духовную сущность оперируемого человека. Но почему же тогда эта так называемая психохирургия наделала столько шума? Да потому что она коснулась самого больного места — я говорю о комплексе коллективного душевного состояния. С точки зрения массовой психологии, уже наркоанализ представлял собой жупел, ужасающий мерзкий призрак. Многие абсолютно серьезно задавали вопрос, куда же мы придем, если будем добиваться признаний человека подобным способом. И, касаясь вопроса применения психохирургии, еще более серьезно спрашивали, что же будет, если, как утверждают психохирурги, мы сможем резко изменить характер человека с помощью хирургического вмешательства. Как мы видим, оба вышеназванных метода объединяются в сознании людей и выливаются во всеобщую ужасающую многих тенденцию, заключающуюся в том, что в будущем из человека как мыслящего субъекта можно будет сделать полностью лишенный воли объект — то есть человек как свободная личность может стать простым предметом, с которым можно обращаться как угодно: из любого человека можно будет извлечь любое признание, и в сознание каждого человека можно будет ввести любой пароль.

С тем, что это *невозможно* сделать с помощью наркоанализа, я полностью согласен. Ну а можно ли изменить характер человека, подвергнув его нейрохирургической операции? В известном смысле — можно, но этот факт должен скорее обнадеживать людей, чем пугать: операция помогает при различных душевных заболеваниях и, что особенно важно, при серьезнейших психических расстройствах. Для того чтобы лучше понять это, совершим небольшой экскурс в историю возникновения психохирургии. Обращаясь к этой истории, мы легко определим, что психохирургия зародилась в Вене и поначалу являлась не чем иным, как наркоанализом; методы усыпляющего гипноза разработали австрийские профессора Каудерс и Шильдер. Экспериментальные разработки некоторых методов психохирургии также были сделаны в Вене, их осуществляли в 1932 году австрийские исследователи Пётцль и Хофф. Однако уже задолго до этого было известно, что многие заболевания головного мозга человека сопровождались известными изменениями его характера. В зависимости от места возникновения этих заболеваний в головном мозгу у пациентов можно было наблюдать либо ослабление интереса к жизни, либо так называемое праздное остроумие (то есть стремление острить по любому поводу).

Данные изменения характера, проявившиеся у одного из пациентов, произвели на врачей сильное впечатление. В головном мозгу этого человека была обнаружена опухоль, локализованная как раз в том месте мозга, воздействие на которое и могло вызвать ослабление интереса к жизни; однако во время операции по удалению опухоли нейрохирургам поневоле пришлось вторгнуться в те точки мозга, которые вызвали у данного пациента синдром праздного остроумия. И врачи с удивлением констатировали тот факт, что перед операцией, то есть когда у пациента была опухоль в определенном месте головного мозга, он был крайне неразговорчивым и подолгу лежал на кровати, тупо глядя в потолок; и что этот же пациент стал совершенно другим человеком, когда он появился у нас после операции на головном мозге, которую ему сделали в хирургической клинике. Он острит по любому поводу и вообще без всякого повода. Чем я могу это доказать? Вот только лишь один пример. Когда медицинская сестра спросила его: «Скажите, а сколь длинным было Ваше пребывание там, в хирургической клинике?», он ответил: «Да столь же длинным, как и у вас, в неврологическом отделении: 1 метр и 72 сантиметра».

Таковы неумышленные результаты нейрохирургических операций. Что же касается психохирургии, то подобные так называемые изменения черт характера человека являются целью лечения. Однако великий Мониц представлял себе психохирургию несколько по-другому. Мониц — знаменитый португальский невропатолог, удостоенный Нобелевской премии, — считал, что в результате так называемой лоботомии (разрезу долей головного мозга) или лейкотомии может наступить повреждение нервных волокон, которое, как он полагал, связано с возникновением различных душевных заболеваний (например, с появлением у человека различных бредовых идей). Но обо всем этом не может быть и речи, и, как во всей истории медицины, так и в данном случае, неправильные (чтобы не сказать наивные) теоретические умозаключения дали мощный толчок плодотворным практическим исследованиям, что в конечном счете привело к многочисленным изобретениям и открытиям, обеспечившим невиданный прогресс медицины.

Если говорить об изменениях характера человека после операций, которые описал Мониц, то их по сути дела лишь два: изменение возбудимости и изменение импульсивности, то есть данный пациент, по крайней мере после двусторонней операции, не будет способен на те сильные реактивные возбуждения, которые были свойственны ему до операции, и в дальнейшем он будет испытывать меньшее нервное напряжение в любой сложной психологической ситуации.

Следовательно, этот человек станет гораздо более заторможенным, но не следует забывать одного очень важного обстоятельства: когда мы убеждены в том, что данная операция нужна и были учтены все возможные последствия этой операции, тогда мы сознательно идем на то, чтобы оказать помощь человеку, даже сделав его (в определенных пределах) более заторможенным и менее возбудимым, чем прежде. Так в каких же случаях нужно делать эту операцию? Ее нужно делать только тогда, когда пациент начинает испытывать чрезвычайно сильное нервное напряжение независимо от того, чем оно вызвано: каким-либо болезненным стремлением, болезненным принуждением или болезненным страхом, — когда все ранее предпринятые медиками другие меры не принесли больному ни малейшего облегчения. Известный профессор Штранский неоднократно подчеркивал, что лейкотомию нужно рассматривать как *ultima ratio*, то есть использовать как последнее решительное средство только в том случае, если *были испробованы и оказались безуспешными* все другие попытки. В результате данной операции человек должен освободиться от болезненных стремлений, принуждения и страха — а также и от связанных с ними страданий, которые продолжали бы мучить больного, если бы эта операция не была сделана. То, что именно эта операция может избавить человека от испытываемых им нечеловеческих мук, — очевидно. То, что в результате этой операции сознание человека будет более заторможенным, следует считать необходимой платой за избавление от страданий. Речь в данном случае совершенно не идет о выборе меньшего из двух зол, я говорю об избавлении от большого зла с помощью проведенной хирургами операции. Перед тем как приступить к лейкотомии, нужно очень тщательно обдумать и взвесить все, что может помешать этому больному жить полноценной человеческой жизнью: серьезность заболевания, во имя избавления от которого он соглашается на операцию, — и изменения душевного состояния, которые могут наступить в результате операции. Когда все готово к проведению операции, врачи должны еще раз всесторонне обсудить любые возможные побочные эффекты операции и убедиться в том, что операция приведет к исцелению больного с минимальными потерями.

В заключение хочу сказать о том, что является крайне важным — как для врачей, так и для пациентов — при любом хирургическом вмешательстве, и даже при медикаментозном лечении: мы должны совершенно сознательно пойти на то, что в результате любого лечения могут возникнуть какие-либо, конечно же, не слишком желательные побочные эффекты. Мы должны с этим примириться — и, как правило, мы можем с этим примириться. И мы, врачи, никогда не имеем права отступать перед болезнью, не приняв никакого определенного решения. Я имею в виду прежде всего решение о том, какой вид лечения назначить — операцию или использование медицинских препаратов, — и оценку того, насколько серьезно скажутся на здоровье пациента возможные побочные эффекты. Само собой разумеется, что чем большему риску подвергается больной, тем тяжелее врачу принять правильное решение. К моему глубокому сожалению, в области медицинской техники человечество пока не изобрело ничего такого, что превышало бы уровень какой-либо другой технической области: *в той же самой степени, в которой нам дана власть, — именно в этой степени на наши плечи взваливается тяжелейшая ответственность.*

Врач и человеческие страдания.

Начну с банальной истины: в силу своей профессии именно врач призван облегчать страдания человека и, если это возможно, избавлять его от них. Гораздо менее известным является тот факт, что врач должен уметь четко различать грань между двумя, если можно так выразиться, типами страданий. Я имею в виду страдания, от которых, на данном этапе развития медицины, человека пока еще невозможно избавить, и страдания, которые врач может в значительной степени облегчить или совсем избавить от них своего пациента. Замечу, что многие человеческие страдания можно предотвратить, используя различные профилактические и гигиенические средства. Устраняя причину, вызвавшую страдания, например, с помощью хирургической операции, — врач освобождает заболевшего человека от страданий. (В данном случае я говорю о хирургическом вмешательстве как об одном из радикальнейших способов справиться с болезнью.) Однако ни для кого из нас не является секретом, что далеко не каждую причину болезни врач может устранить; другими словами, далеко не каждая болезнь излечима.

Поэтому на врача возлагается еще одна, крайне важная задача: во всех тех случаях, когда врач оказывается бессильным устранить причину того или иного заболевания, он обязан сделать все возможное, чтобы в максимальной степени облегчить страдания больного. (Хотя это относится скорее не к хирургическим операциям, а к использованию различных медикаментов.) И вот здесь мы сразу сталкиваемся с двумя проблемами: каким образом избавить больного от испытываемых им страданий и допустимо ли это делать, применяя крайние меры. Представьте себе ситуацию,

когда врач может облегчить невероятную боль своего пациента, лишь сделав ему смертоносную инъекцию. В данном случае речь идет об эвтаназии. Другими словами, врач, руководствуясь соображениями сострадания и милосердия, добровольно помогает страждущему уйти из жизни. Хорошо известно, что эвтаназия запрещена законом (даже если врач делает это с письменного согласия самого больного и его родственников), и я уже говорил о том, что это правильно и что эвтаназия и должна оставаться запрещенной. Обычно эвтаназию осуществляют медикаментозными средствами (о жестоком способе умерщвления больного с помощью смертоносного газа мне не хочется даже говорить). Можно использовать для облегчения страданий больного не эвтаназию (как крайнюю меру), а хорошо известные хирургические операции на головном мозге, такие как лейкотомия и лоботомия. С помощью вышеуказанных хирургических операций можно добиться того, что больной не будет испытывать тяжелых страданий, несмотря на то, что причина болезни не будет устранена. Из общей неизменившейся картины болезни будет, если можно так выразиться, изъят один фрагмент, то есть страдания больного.

Однако при этом нужно иметь в виду, что пациент, которому сделана подобная операция (лоботомия или лейкотомия), после ее завершения будет довольно пассивно относиться к жизни, потеряв значительную часть своих интересов. Кроме того, следует принимать во внимание и то, что у некоторых больных после таких операций возникают известные психические расстройства. Однако с этими нарушениями психики и довольно незначительными изменениями характера приходится мириться во всех тех случаях, когда речь идет о нейрохирургических операциях, в результате которых удается избавить пациента от нестерпимой, незатихающей боли. Но всегда ли врач обязан закрывать глаза на изменение характера больного, на возникновение у него заторможенного состояния? Должен ли врач рекомендовать пациенту эту операцию, несмотря на ту цену, которую больному придется за нее заплатить? Нет! Врач должен быть абсолютно уверен в том, что страдания, испытываемые его пациентом, намного перевешивают изменения, которые могут произойти в его характере. Другими словами, в каждом конкретном случае врач, прежде чем рекомендовать больному согласиться на нейрохирургическую операцию, должен тщательно взвесить все «за» и «против» и из двух зол выбрать меньшее. Однако то, что врачу в любом случае нужно принять все меры, чтобы избавить больного от страданий, — очевидно. В тех случаях, когда речь идет о неоперабельном онкологическом заболевании и, следовательно, причина страданий не может быть устранена, а боль пациента снимается медикаментозным путем с помощью морфия, я считаю использование морфия меньшим злом. Однако в некоторых случаях применение морфия можно расценивать как большее зло, по сравнению с тем, что может ожидать больного после лейкотомии: чрезмерные дозы морфия, даваемые больному, могут вызвать у него состояние постоянной подавленности и полную потерю интереса к жизни, в то время как после лейкотомии об этом состоянии не может быть и речи.

Резюмируя все вышесказанное, еще раз подчеркну, что врач должен постараться в первую очередь избавить больного от страданий, устранив причину возникновения боли, а в тех случаях, когда сделать это совершенно невозможно, врачу нужно использовать все средства, чтобы в максимальной степени облегчить страдания пациента. Но что делать в тех случаях, когда врач абсолютно ничего не может предпринять для облегчения страданий больного; когда он твердо знает, что ни операция, ни медикаментозные средства не помогут ему избавить своего пациента от боли, — что тогда? Что должен предпринять врач, если страдания больного стали его судьбой, которую он, фигурально выражаясь, не может взять в свои руки? В этих случаях врачу нужно сделать что-то такое, что позволит ему взять судьбу пациента в свои собственные руки; например, если врач точно знает, что с помощью операции не удастся справиться с болезнью, он не должен требовать от пациента, чтобы тот проявил мужество и преодолел страх перед операцией; он должен прибегнуть к другому средству: внушить больному чувство смирения; постараться убедить его в том, что легче всего пережить постоянные страдания, покорившись своей судьбе. Следовательно, в тех случаях, когда врач абсолютно убежден в том, что любые его действия не приведут к улучшению состояния тяжело больного, то есть в том, что человеку с такой тяжелой судьбой не поможет лечение, он должен помочь больному выбрать линию правильного поведения. И это еще раз подтверждает высказанную мною выше мысль о существовании двух видов страданий: тех, от которых человека можно избавить, используя различные средства, и тех, которые написаны у человека на роду, и следовательно, никакими силами не удастся обойти то, что неизбежно должно случиться. Как это ни горько звучит, но страдание всегда имеет смысл. И этот смысл заключается в том, как мы боремся со свалившимся на нас страданием; этот смысл состоит в том, насколько мы можем примириться с собственной судьбой, как мы настраиваем себя по отношению к испытываемым нами страданиям. Последнее замечание имеет особое значение, поскольку именно правильный настрой больного человека дает ему возможность наполнить смыслом собственную жизнь; именно такой настрой дает неизлечимо больному и, безусловно, тяжело страдающему человеку последний шанс.

Шанс наполнить смыслом свою собственную жизнь по сути дела, является наивысшим шансом из тех, которые вообще предоставляются в жизни человеку. Великий Гете сказал: «В жизни не существует таких ситуаций, с которыми человек не мог бы справиться; и он справляется с тяжелыми ситуациями с помощью либо труда, либо терпения». К этим словам я позволю себе добавить следующее: истинное страдание, то есть страдание, ставшее судьбой человека, есть не только труд сам по себе, оно — наивысшая форма труда, которую выпало совершить человеку. И будет очень грустно, если весь этот труд сведется у пациента к тому, чтобы отказаться бороться с тем, что выпало на его долю в нелегкой жизни.

Что касается конкретных примеров, то я нахожусь в серьезном затруднении, поскольку мне на память приходит лишь один поучительный случай: юная медсестра, работавшая некоторое время в моем неврологическом отделении, должна была лечь на операцию по удалению опухоли желудка; однако вскоре выяснилось, что данная опухоль неоперабельна. Мне передали настойчивую просьбу медсестры, впавшей в отчаяние, навестить ее. Конечно же, я пришел, и из разговора с медсестрой выяснилось, что ее удручает не столько свалившаяся на нее болезнь, сколько грозящая ей перспектива потерять работу. Должен сказать, что она очень сильно любила свою профессию. И вот в результате болезни она была вынуждена прекратить осмотр и лечение больных, что больше всего и приводило ее в отчаяние. В создавшейся ситуации действительно не было никакого выхода (к моему глубокому прискорбию, спустя всего лишь одну неделю она умерла). Что же касается меня, то я изо всех сил пытался ее утешить, говоря ей примерно следующее: «Милая моя девочка, то, что ты способна работать восемь или, один Бог знает, сколько там еще, часов в день, это не предмет для подражания, хотя это могут сделать очень немногие. Но тебе обязательно нужно понять, что при твоём стремлении к любимой работе, при всей твоей работоспособности ты должна в настоящее время отказаться от любимой работы, ни в коем случае не впадая от этого в отчаяние. Вот это было бы настоящим достижением, которое вряд ли кто-нибудь сумел бы повторить. И скажи мне честно, разве ты не совершишь несправедливость по отношению к тем тысячам пациентов, которым ты посвятила всю свою жизнь; разве ты не будешь несправедливой к этим людям, если сама поступишь так, что дашь повод всем этим больным, немощным пациентам, считать свою дальнейшую жизнь абсолютно бессмысленной? Если создавшаяся ситуация повергает тебя в отчаяние, сделай над собой усилие и пойми, что смысл человеческой жизни заключается вовсе не в том, чтобы отдавать любимой работе огромное количество времени. Ведь подобным утверждением ты отрицаешь право на жизнь всех людей, которые не могут работать и которых болезни испытывают на прочность. Ты отказываешь таким людям в праве на разумное существование. Уверю тебя, что в твоём распоряжении есть один-единственный шанс: ты должна послужить человеческим образцом для всех своих пациентов, которые доверяли тебе; и поверь мне — это гораздо более важно, чем помощь, которую ты оказывала им как медсестра».

Конечно же, можно спорить о том, нужно ли врачу вести с пациентом подобные разговоры, но в данной ситуации я просто стремился помочь ей не просто как врач своему пациенту, а как человек человеку, стараясь найти для нее нужные слова, способные подбодрить и утешить ее. И я совершенно искренне считаю, что врач должен утешать своих пациентов, просто по-человечески беседуя с ними. Над главным входом Венской городской больницы висит доска, на которой выбито латинское изречение: *saluti et solatio aegrorum — et solatio*, что означает: врач должен не только лечить, но и утешать больного. Итак, мы видим, что не только психотерапевт (а он, безусловно, должен следовать этой заповеди в первую очередь), но и любой другой специалист-медик не имеет права считать себя настоящим врачом, если он не выполняет обе эти задачи: сделать своего пациента работоспособным человеком, вновь ощутившим смысл и радость жизни; и, кроме того, утешить больного и научить его стойко переносить страдания. В самых тяжелых случаях, когда судьба посылает человеку серьезнейшее испытание в виде неизлечимого ужаснейшего недуга, врач должен сделать все возможное для того, чтобы помочь больному взвалить этот тяжелейший груз на свои плечи и достойно нести его.

Само собой разумеется, что с точки зрения чисто естественных наук подобное определение предназначения врача не может быть признано правомерным; ведь руководствуясь теми знаниями и теми средствами, которые дают врачу естественные науки, он может быть вынужден, например, ампутировать ногу больному; однако с помощью «чистых» естественных наук мне никогда не удавалось удержать тяжело больного пациента от самоубийства, которое он мог совершить после ампутации (или даже до нее), так как мысль о невозможности полноценной человеческой жизни после того, как ему сделана (или будет сделана) ампутация, приводила такого пациента в отчаяние. Хирург, не придающий никакого значения подобным вещам — заботе о духовном состоянии своих пациентов и необходимости находить для них простые человеческие слова утешения; хирург, который «умыл руки» и сознательно отказался от этого, не должен удивляться, узнав, что пациент, просто поставленный в известность о том, что в 8 часов утра следующего дня

ему будет сделана операция, оказался в это время не на операционном столе, а на столе патологоанатома: ночью в результате тяжелого душевного потрясения этот пациент совершил самоубийство. То, что самоубийство было совершенно бессмысленным и неоправданным, — очевидно; но у врачей уже не было возможности объяснить добровольно ушедшему из жизни человеку, что смысл человеческого бытия заключается не только в том, чтобы стоять на двух ногах. Врачи могли удержать отчаявшегося пациента от самоубийства, объяснив ему ненужность и бессмысленность подобного поступка всего в нескольких участливых дружеских словах; хотя, конечно, могло оказаться, что отчаяние пациента зашло слишком далеко. И мне остается лишь привести мнение на этот счет известного невропатолога, который сказал: «Само собой разумеется, что врач может обойтись без всего этого; по в этом случае ему придется признать, что как врач он ничем не отличается от ветеринара. Ведь врач, стремящийся к исцелению человека от болезней, должен уметь найти дорогу к душе каждого своего пациента».

Шизофрения.

Как известно, существуют два наиболее серьезных душевных заболевания: маниакально-депрессивный психоз и шизофрения. Откуда возник этот термин — «шизофрения»? На немецком языке это понятие обозначается словом «Spaltungsirresein» (в дословном переводе — «расщепленное, иррациональное бытие»). Своим появлением термин «шизофрения» обязан ассоциативной психологии, под влиянием которой цюрихский психиатр Блейлер назвал этим словом расщепление ассоциативных комплексов. Однако если считать, что это психическое заболевание связано с фактическим раздвоением личности и, более того, по своей сути именно им и является, то данное суждение ни в коей мере не соответствует истине. Я хочу это подчеркнуть особо, так как подобное ошибочное толкование распространено довольно широко. Мне вспоминается сестра одного моего пациента, страдавшего шизофренией, которая, хоть и не имела медицинского образования, всерьез интересовалась психиатрией. В беседе со мной, предметом которой являлось обсуждение возможной связи шизофрении с черепно-мозговыми травмами, она задала следующий вопрос: «Не объясняется ли раздвоение личности моего брата следствием того, что во время учебы в средней школе одноклассники ударили его по голове тяжелой чертежной доской»? Я ответил, что это ни в коем случае нельзя считать причиной возникновения шизофрении.

К раздвоению личности, которое очень часто встречается в сюжетах различных киносценариев и литературных произведений, шизофрения, так же как и черепно-мозговые травмы, не имеет никакого отношения. По определенным соображениям я считаю данное утверждение крайне важным. Раздвоение личности начинает проявляться у человека в период его полового созревания, когда он, достигнув определенного возраста, начинает все больше и больше интересоваться своими душевными переживаниями, наблюдая и изучая их. «Две души живут, ах, в груди моей», — цитирование этой строчки становится привычкой: один человек произносит ее словно актер, другой человек внимает первому. Так повзрослевшая личность начинает постоянно разговаривать с самой собой и благодаря этому раздваивается: одновременно играя роль и актера и внимающего ему зрителя. Но все это находится в пределах психологических норм поведения и не имеет с шизофренией ничего, а если сказать точнее, совершенно ничего общего. Описанная выше склонность человека к самосозерцанию, самокопанию часто является одной из черт его характера, и когда такие люди начинают опасаться, что их долгие размышления над своими мыслями и чувствами могут в один «прекрасный» день превратиться в душевное заболевание, они беспокоятся напрасно, поскольку я считаю данные опасения совершенно безосновательными и мой богатый опыт говорит о том, что именно эти люди, предрасположенные к созерцанию собственных переживаний, надежно застрахованы, если можно так выразиться, от действительных нарушений психики.

А теперь поговорим непосредственно о шизофрении. Психиатры различают преимущественно три типа этого психического заболевания: гебефрению (т.е. юношескую стадию шизофрении), кататонию и параноидную шизофрению. Гебефрения характеризуется ранним началом и довольно медленным протеканием патологических процессов. Наиболее важное значение из всех названных выше типов имеет параноидная шизофрения. Она сопровождается различными фантазмагориями, начинаясь, как правило, с обнародования различных идей, касающихся отношений между людьми, и заканчиваясь стойкой манией преследования. При этом у заболевшего человека формируется так называемая система ложных представлений: данный пациент не только считает враждебными по отношению к нему безобиднейшие явления окружающего мира — нечто подобное наблюдается также и у человека, страдающего

невротическими синдромами, — но и чувствует себя повсюду преследуемым врагами, причем все эти созданные его воспаленным воображением недруги тесно связаны между собой.

У многих шизофреников — и это касается в особенности людей, страдающих шизофренией в параноидной форме, — наряду с манией преследования часто наблюдаются такие проявления болезни, как обман чувств, различные галлюцинации и в первую очередь галлюцинации слуховые: заболевшему шизофренией человеку постоянно кажется, что он слышит различные голоса, которые сопровождают все его поступки хамскими издевательскими комментариями или отдают ему разнообразнейшие приказы. Это состояние столь же мучительно для самого больного, сколь и не безобидно для окружающих его людей. Так называемый обмен чувств, наблюдаемый у параноидных шизофреников, играет довольно существенную роль. Данные больные часто говорят о том, что они находятся под воздействием каких-то технических аппаратов, излучающих электромагнитные волны или действующих на них мощным электрическим током, и что эти аппараты находятся в руках врагов, которые преследуют их и включают аппараты в нужный момент времени. Кроме того, нередко можно услышать от них и о другой напасти; так, они утверждают, что все их мысли не являются их собственными, а внушены им извне, и что их воля подавлена враждебными воздействиями других людей. Такие пациенты очень часто говорят о том, что, когда они делают попытку самостоятельно разобраться в своих переживаниях, они чувствуют себя находящимися под гипнотическим воздействием, причем чаще всего речь идет о гипнозе, осуществленном на расстоянии, то есть о так называемом телегипнозе (чего в действительности, конечно же, никто не делает). В более далекие времена подобные переживания шизофреников объяснялись другими, связанными с мистикой причинами: считалось, например, что все больные шизофренией люди одержимы злыми могущественными духами.

И наконец, некоторые шизофреники страдают так называемой манией величия. Но она проявляется чрезвычайно редко, хотя многие дилетанты, слабо разбирающиеся в проблемах психических заболеваний, не согласятся с этим утверждением. В подтверждение своих слов могу сказать, что по крайней мере в течение тех лет, когда я работал в крупной психиатрической лечебнице и через мои руки, так сказать, прошли многие тысячи больных, так вот за все эти десятилетия мне ни разу не встретился больной, который выдавал бы себя, например, за китайского императора. Представление дилетантов о том, что почти все душевнобольные страдают продолжительными приступами буйного помешательства, также не соответствует действительности: такие приступы характерны лишь для определенных фаз психических заболеваний и длятся они весьма непродолжительное время, иногда несколько секунд. Однако внешнее спокойствие больных не должно приводить врача в благодушное состояние, он должен сознавать всю серьезность положения и в любом случае поместить такого больного в лечебное учреждение, назначив ему интенсивную терапию. Хочу сказать еще об одной важной характеристике подобного заболевания: пациент может показаться врачу совершенно здоровым, поскольку он хорошо выучил и твердо запомнил все важнейшие симптомы своего заболевания. Но это лишь в очень редких случаях может помешать психиатру установить правильный диагноз, поскольку неправильное представление об окружающем мире и нарушение способности адекватно оценивать происходящие в нем события прямо указывают на шизофрению, эту чрезвычайно редкую и крайне важную с социально-медицинской точки зрения психическую болезнь. Кроме того, специалистам в области психиатрии хорошо известно следующее: многие эстрадные артисты часто изображают на сцене душевнобольных людей, знакомя моих будущих пациентов с симптомами психических заболеваний, например, с характерными конвульсивными подергиваниями отдельных участков человеческого тела. Однако они совершенно не являются отличительными признаками нарушений психического здоровья, а представляют собой совершенно безобидный симптом, который в силу самых разнообразных причин встречается у абсолютно нормальных людей, у которых просто расшатаны нервы.

Остается вспомнить, что я говорил об еще одном типе шизофрении, а именно о кататонии, так называемом напряженном иррациональном бытии, которая сравнительно недавно считалась наиболее острым психическим заболеванием, причем оно и быстро возникало, и быстро исчезало — чтобы спустя несколько лет вернуться вновь. Если для такой болезни, как меланхолия, отличительным признаком является заторможенность больного, то при кататонии характерным является состояние так называемой блокировки. Эта блокировка в любой момент может быть разрушена внезапно появляющимся приступом активности, когда больной впадает в состояние крайнего возбуждения. Хочу еще раз напомнить вам, уважаемые читатели, одну важную истину: возникает ли в каждом конкретном случае такой приступ активности, или нет, страдает ли данный человек меланхолией или шизофренией, то есть что проявляется в его поведении: меланхолическая заторможенность или шизофреническая блокировка, — все это может определить только врач-специалист. Очень многое зависит от того, какой диагноз поставит врач. В зависимости от поставленного диагноза врач может либо оставить больного в его собственном

доме на попечении его родственников или близких друзей, либо, наоборот, отправить его на лечение в закрытое лечебное учреждение.

Хотя мы, европейские психиатры, ни в коем случае не разделяем широко распространенного мнения психиатров других континентов, которые считают, что шизофрения по сути дела является психогенной разновидностью невроза, тем не менее, мы согласны с тем, что психотерапия является одним из важнейших, если не самым важным и эффективным, средством лечения. Необходимо учесть также большое количество различных факторов предрасположенности человека к заболеванию, и в первую очередь фактор наследственности, однако и в этом случае нужно помнить о совете Рудольфа Аллерса, который считал, что фактору наследственности ни в коем случае не следует придавать слишком большого значения, ибо это может помешать врачу использовать все свои возможности для лечения пациента.

Никто из практикующих врачей не станет спорить с тем, что при лечении психозов методы психотерапии должны существенно отличаться от методов, используемых при лечении неврозов; однако и в том и в другом случае психиатр обязан использовать все здоровые силы, имеющиеся у больного, чтобы вместе с ним сообща справиться с болезнью. Известный австрийский психиатр Генрих Когерер был первым, кто указал именно на этот путь и доказал, насколько важным является полное доверие пациента к врачу. В очень многих случаях возникновение такого доверия может стать отличным профилактическим средством, что позволит даже при многих факторах предрасположенности человека к болезни уберечь его от шизофрении.

Однако в задачу врача входят не только профилактика психических заболеваний и лечение излечимых больных, но также и организация ухода за неизлечимыми больными. Именно в тех случаях, когда психиатр уже не состоянии помочь своему пациенту выздороветь, он должен хорошо знать сам (и научить этому других), что даже при полном разрушении сознания больного, когда наступает так называемая финальная стадия шизофрении, необходимо оказывать больному всяческие знаки человеческого внимания и уважения. И даже в том случае, когда пациент находится в психиатрической лечебнице весьма продолжительное время, когда он утратил большинство человеческих ценностей, нужно сделать все возможное для того, чтобы этот несчастный человек сохранил свое человеческое достоинство.

От светской исповеди к медицинскому служению.

В первой части мы стремились показать, что психотерапия нуждается в дополнении, что терапия должна быть расширена посредством включения духовной сферы. Данный раздел посвящен рассмотрению возможности достижения этой цели.

Парацельс говорил: «И это-то жалкое создание, не знающее и не понимающее философии, называет себя врачом». Теперь мы должны задаться вопросом, правомочен ли врач, который чувствует себя немножко философом, позволять своим философским взглядам влиять на процесс лечения.

В нашей первой главе мы представили ведущие принципы логотерапии, которая центрируется на человеческой ответственности, и показали необходимость экзистенциального анализа, как анализа существования в терминах ответственности. Экзистенциальный анализ делает главный акцент на все включающей качественной задаче существования. Он делает основой человеческого существования глубокое чувство ответственности и тем самым запускает внутренний процесс, терапевтическую ценность которого мы уже обсуждали.

Путь от логотерапии к экзистенциальному анализу лежит у нас позади. В определенном пункте логотерапия перешла в экзистенциальный анализ. Теперь возникает вопрос, должен ли и может ли психотерапевт переходить за этот пункт.

Целью психотерапии, особенно психоанализа, являлась светская исповедь; целью логотерапии, особенно экзистенциального анализа, является медицинское служение.

Это утверждение нельзя понимать превратно. Медицинское служение не ставит целью замещение религии или даже психотерапии — такой, какой она была до сих пор. Скорее, как мы уже говорили, оно должно выступать в качестве дополнения. Мы ничего не хотим сказать и ничего не могли бы предложить религиозному человеку, который обретает уверенность в таинстве его метафизики. Но особая проблема возникает, когда явно нерелигиозный человек обращается к своему врачу, потому что он жаждет получить ответ на вопросы, которые глубоко волнуют его.

Если в таком случае утверждалось бы, что медицинское служение предлагается как суррогат религии, то мы могли бы лишь возразить, что наши намерения весьма далеки от этого. Когда мы практикуем логотерапию или экзистенциальный анализ, мы являемся врачами и хотим оставаться

ими. Мы и не думаем соперничать с духовенством. Но мы стремимся расширить сферу медицинской активности и использовать полные возможности медицинского лечения. Теперь мы должны показать, что возможности этого рода существуют, и продемонстрировать, каким образом они могут быть использованы.

Психотерапевтическое значение исповеди было предметом многочисленных исследований. В общем консультировании, так же как и в психиатрическом лечении, было более чем достаточно доказано, что простой разговор по поводу личной проблемы приносит пациенту подлинное терапевтическое облегчение. То, что мы говорили в предыдущем разделе в связи с терапией тревоги и обсессивного невроза о пользе для пациента объективизации его симптомов и достижения перспективы в отношении к ним, остается верным и для обговаривания вещей в общем, для переработки психологических конфликтов в разговоре с другим человеком. Поделиться своими заботами означает буквально разделить их, разделить их пополам.

Психоаналитики говорят о «компульсии исповедоваться», подразумевая, что желание выговориться само по себе является симптомом. С односторонней психоаналитической точки зрения, компульсия исповеди с необходимостью видится симптомом скорее, чем, по антитезе О. Шварца, — «достижением». Но потребность в исповеди вовсе не обязательно приписывать невротическому состоянию; она может также быть моральным достижением, как показывает следующий случай.

Пациентка была направлена к психиатру, так как страдала сильным страхом сифилиса. Выяснилось, что она страдала общей невротической ипохондрией. Она ошибочно интерпретировала невралгические боли как признаки инфекции. В контексте того, что мы знали о невротической ипохондрии, сифилисофобия может рассматриваться как специфическое выражение чувства вины, связанного с сексуальным вопросом. Но в данном случае у пациентки не было подобных чувств. Правда, она действительно стала жертвой насилия, но была достаточно разумной, чтобы не испытывать чувства вины по поводу этого единичного сексуального переживания. Ее чувство вины было связано с другим аспектом этой истории: с тем, что она не рассказала мужу об этом инциденте. Здесь она опять-таки была разумной; она глубоко любила своего мужа и хотела щадить его чувства, так как знала его как человека весьма ревнивого. Ее компульсивное стремление к исповеди отнюдь не было симптомом. Поэтому оно не было доступно обычным психотерапевтическим интерпретациям; здесь требовались логотерапевтические методы обсуждения на фактическом материале, принятия моральных вопросов в контексте ценностей.

Действительно, компульсия к исповеди быстро исчезла с того момента, как пациентка поняла, что в этом конкретном случае ее продолжительное молчание было ее обязательством в отношении ее любви к мужу. Она осознала, что не было никакой необходимости исповедоваться, так как можно исповедоваться только в отношении вины, а она чувствовала себя свободной от какой бы то ни было реальной вины. Более того, здесь мы видим аналогию случаю, упоминавшемуся в другой связи, — она могла бы создать совершенно неверное впечатление у своего подозрительного мужа и обмануть его посредством истины. Эта пациентка, таким образом, могла быть убеждена лишь тогда, когда была убеждена ее совесть. А ее совесть была нарушена не самим по себе сексуальным инцидентом, но лишь в отношении к сомнительной моральной обязанности исповеди.

В движении от логотерапии через экзистенциальный анализ к медицинскому служению мы все больше занимаемся такими экзистенциальными и духовными проблемами, которых психотерапия никогда полностью избежать не могла. Как только логотерапия приступает к «психотерапии в духовных терминах», она сразу же наталкивается на вопросы ценностей и вступает на пограничную территорию медицины.

Обычная психотерапия удовлетворяется тем, что делает человека «свободным от» психических и физических нарушений или трудностей и расширением сферы «эго» относительно сферы «оно». Как логотерапия, так и экзистенциальный анализ стремятся сделать людей свободными в другом и более основном смысле: «свободными для» того, чтобы принять свою ответственность на самих себя. Следовательно, они продвигаются в том направлении, где проходит водораздел не между психикой и телом, но между психикой и духом. Здесь с необходимостью возникает проблема и опасность перехода этой границы.

Любая медицинская практика предполагает ценность сохранения или восстановления здоровья. Как мы говорили раньше, ценностные проблемы медицинской практики обостряются лишь в связи с эвтаназией, или предотвращением суицида, или с решением о проведении особенно опасных операций, когда человеческое существование ставится на карту. Но не может быть медицинской практики, не затронутой ценностями или этическими принципами.

Та область медицины, которую мы называем психотерапией, всегда практически занималась и логотерапией и, следовательно, осуществляла некий род медицинского служения.

Мы должны быть готовы ответить на вопрос, «из каких оснований и от чьего имени» (Принцхорн) мы вторгаемся в философию, в духовные проблемы, в область духовных ценностей. Это — проблема философской честности. Для врача, привыкшего мыслить в терминах методологических проблем, понятно, что обоснованность медицинского служения зависит от ответа на этот вопрос.

Гиппократ говорил, что врач, являющийся также и философом, подобен богам. Но в нашем стремлении вводить философские вопросы — там, где они релевантны, — в медицинскую практику, мы не имеем намерения соперничать с духовенством. Мы просто хотим использовать возможности медицины в максимальной степени, исследовать область медицины до самых крайних ее границ. Необходимо пойти на риск, и наше предприятие может быть объявлено опасной затеей. На каждом шагу доктор в своем кабинете сталкивается с ценностными суждениями. Мы не можем спокойно обойти их; мы вынуждены вновь и вновь занимать определенную позицию.

Возникает вопрос: полномочен ли лечащий врач занимать такую позицию, а может быть, это даже является его обязанностью? Или, может быть, более разумным и более соответствующим его долгу было бы избегать того, чтобы занимать подобную позицию? Допустимо ли для него влиять на решения пациента? Не означает ли это вторжения в частную, личную зону человеческого духа? Не приведет ли это воздействие к бездомному и произвольному наложению его собственных личных взглядов на сознание пациента? Хотя Гиппократ говорил: «Следует вносить философию в медицину и медицину в философию», не обязаны ли мы тем не менее спросить самих себя, не означает ли это, что врач вносит в свою профессиональную деятельность нечто совершенно чуждое его функциям? Не превышает ли он свои полномочия, обсуждая философские вопросы с пациентом, который ему доверяется и который верит в него?

Эта проблема не возникает в деятельности священников и других представителей духовенства, в чьи обязанности входит обсуждать вопросы веры и философические взгляды и которые обладают полномочиями проповедовать руководящие принципы. Задача становится равно легкой для доктора, которому посчастливилось соединять в себе качества врача и духовного лица и который обсуждает вопросы веры или ценностей с пациентом одной с ним веры. То же самое верно для доктора, чьи ценности определяются выданным ему государством мандатом и чьей задачей является способствовать благосостоянию этого государства. Но любой другой врач сталкивается с дилеммой — особенно психотерапевт, который, с одной стороны, не может действовать, игнорируя ценностные суждения, а с другой стороны, должен остерегаться наложения собственных взглядов на личность пациента.

Существует решение этой дилеммы, хотя оно и не из простых. Давайте обратимся к первичному факту человеческого существования, с которого мы начинали: быть человеком, говорили мы, значит быть сознающим и ответственным. Экзистенциальный анализ ориентирован именно на то, чтобы помочь человеку в осознании его ответственности. Он стремится помочь людям пережить этот элемент ответственности в их существовании. Но вести личность дальше этого пункта, в котором достигается осознание существования как ответственности, не является ни возможным, ни необходимым.

Ответственность является формальным этическим понятием, не включающим частных директив в отношении поведения. Более того, ответственность является этически нейтральным понятием, существующим на этической пограничной линии, потому что само по себе оно не определяет объективной отнесенности ответственности. В этом смысле экзистенциальный анализ также характеризуется неопределенностью по поводу вопроса, в отношении к кому или чему, личность должна чувствовать ответственность — к ее Богу, или ее совести, или окружающему ее обществу, или какой-либо высшей силе. И экзистенциальный анализ равным образом воздерживается от того, чтобы утверждать, что личность должна чувствовать ответственность за то-то и то-то — за реализацию таких-то ценностей, за исполнение таких-то личностных задач, за такой-то конкретный смысл жизни. Напротив, задача экзистенциального анализа состоит как раз в том, чтобы привести личность на те позиции, где она может самостоятельно определять свои задачи, исходя из осознания своей собственной ответственности, и может найти ясный, уникальный и единственный смысл своей жизни. Как только человек оказывается на этих позициях, он становится способным дать конкретный и творческий ответ на вопрос о смысле существования. Потому что здесь он достигает той точки, в которой «ответ определяется осознанием ответственности» (Дюрк).

Экзистенциальный анализ, таким образом, не вмешивается в ранжирование ценностей; он удовлетворяется тем, что индивид начинает оценивать; какие же ценности он выбирает — остается его собственным делом.

Экзистенциальный анализ занимается не тем, какие решения конкретно пациент принимает и какие он выбирает цели, но только способностью пациента в целом принимать решения. Но, хотя осознание ответственности этически нейтрально, оно никоим образом не лишено императивности: как только сознание индивида разбужено, он будет спонтанно и автоматически искать, находить и двигаться по пути к его избранной цели. Экзистенциальный анализ, наряду со всеми формами медицинского служения, удовлетворяется и должен удовлетворяться приведением пациента к глубинному переживанию его собственной ответственности. Продолжение лечения дальше этого пункта с тем, что оно вторгается в личную сферу частных решений, должно расцениваться как недопустимое. Врачу непозволительно принимать на себя ответственность пациента; он не должен предвосхищать решения пациента или предлагать ему готовые решения. Его задача — сделать возможным для пациента принятие решений; он должен помочь пациенту развить способность принятия решений.

Но так как ценности несоизмеримы, а решения принимаются лишь на основе предпочтений (Шелер), в некоторых обстоятельствах бывает необходимо помочь пациенту определить его предпочтения. Следующий пример проиллюстрирует необходимость такой помощи и способы ее реализации.

Молодой человек пришел к своему доктору за советом по поводу решения, которое он должен был принять. Подруга его невесты фактически пригласила его отправиться с ней в постель. Теперь молодой человек ломал себе голову, какое принять решение, как ему поступить. Должен ли он изменить своей невесте, которую он любил и уважал, или же игнорировать предоставившуюся возможность и сохранить свою верность ей?

Доктор принципиально отказался принимать решение за пациента. Однако он поступил совершенно правильно, постаравшись разъяснить пациенту, каковы его подлинные желания и что он думал достичь в том и другом случае. С одной стороны, молодой человек имел единственную возможность для единичного удовольствия; с другой стороны молодой человек имел единственную возможность для морально одобряемого поведения, а именно, самоотречение во имя любви, что могло означать «достижение» для его собственного сознания (не для его невесты, которая, возможно, никогда не узнала бы ничего обо всем этом деле). Молодой человек проявил такую заинтересованность этой возможностью потому, что, как он выразился, он «не хотел упускать ничего». Но предлагавшееся ему удовольствие вполне вероятно могло бы оказаться весьма сомнительным, так как доктор лечил этого пациента по поводу нарушений потенции. Доктор вполне мог, следовательно, предполагать, что нечистая совесть пациента могла бы оказаться таким фактором, который может вызвать преходящую импотенцию. По очевидным причинам, доктор оставил свои прагматические соображения при себе. Но он постарался сделать понятной пациенту его ситуацию, которая напоминала ситуацию «буриданова осла», осла из схоластической теории, который непременно умер бы от голода, будучи помещенным на равном расстоянии от двух равных по величине порций овса, так как он был бы неспособен выбрать одну из них. Чего доктор старался достичь — так это привести две возможности, так сказать, к общему знаменателю. Обе возможности были «единственными возможностями», в обоих случаях пациент «упускал бы что-то» делая тот или иной выбор. В одном случае он имел бы сомнительное удовольствие (вероятно, несомненное неудовольствие), а в другом случае он был бы способен подтвердить для себя глубокую благодарность, которую он чувствовал к своей невесте и которую, по его словам, он никогда не мог выразить полностью. Его отказ от этого маленького сексуального порыва мог бы послужить выражением этой благодарности.

Из этой беседы с доктором молодой человек уяснил, что в обоих случаях он терял бы что-то, но также и то, что в одном случае он терял бы сравнительно немного, а в другом — несравнимо больше. Без необходимости того, чтобы доктор указывал правильный путь, пациент сам теперь понимал, какой путь ему следует избрать. Он принял свое решение, принял его независимо. Оно было независимым не вопреки, но фактически в результате этой проясняющей беседы.

Это техника извлечения на свет общего знаменателя может быть успешно использована там, где скорее требуется сравнение «благ», нежели предпочтение ценностей. Например, сравнительно молодой человек, парализованный с одной стороны после церебральной эмболии, выражал своему доктору свое ужасное отчаяние по этому поводу, притом надежды на заметное улучшение не было никакой. Доктор, однако, помог пациенту обрести душевное равновесие. Вопреки случившемуся с ним несчастью, оставалось значительное число благ, которые могли

* Медицинское служение не занимается «спасением душ». Это не может и не должно быть его задачей. Скорее оно занимается здоровьем души человека. А душа человека здорова до тех пор, пока он остается тем, чем он является по своей внутренней сущности, а именно бытием, сознающим свою ответственность, фактически — вместилищем сознания и ответственности.

придать смысл его жизни, включая счастливое супружество и рождение здорового ребенка. Его инвалидность не вызвала финансового краха, так как ему назначена пенсия. Он пришел к осознанию того, что хотя паралич и разрушил его профессиональную карьеру, но не уничтожил смысл его жизни. Пациент в конце концов достиг философской перспективы, стоического спокойствия и мудрой бодрости следующим образом. Доктор рекомендовал ему практиковаться в чтении вслух, с тем чтобы улучшить поврежденную параличом речь. Причем для этой цели была использована книга Сенеки «О счастливой жизни».

Мы не должны упустить из виду очень большое число случаев и ситуаций, в которых было бы опасным, если не фатальным, для психотерапевта представить решение полностью пациенту. Врачу непозволительно покинуть человека в состоянии отчаяния или принести человеческую жизнь в жертву принципу. Врач не может позволить «упасть» его пациенту. Он должен уподобить свое поведение ведущему альпинисту, который держит веревку в ненатянтом состоянии для человека, находящегося ниже, потому что иначе его товарищ будет избавлен от усилия самостоятельного восхождения. Но, если возникает какая-либо опасность падения, он не будет колебаться натягивать веревку изо всех сил, чтобы вытащить к себе человека, попавшего в опасное положение. Такая помощь определенно временами необходима, как в логотерапии, так и в медицинском служении, например в случае потенциального суицида. Но такие исключительные случаи лишь подтверждают то правило, что, в общем, врач должен трактовать вопросы ценностей с крайней осторожностью. В принципе он должен соблюдать очерченные границы.

Мы стремились с экзистенциальным анализе найти решение духовных и аксиологических проблем логотерапии и тем самым заложить основы для некоторого рода медицинского служения. Теперь мы сознаем особое требование к психотерапии в отношении ценностных вопросов. Но каковы особые требования к врачу, который занимается такого рода терапией? Можно ли научиться медицинскому служению или — в этом отношении — психотерапии в общем? Можно ли учить этому?

Любая психотерапия в конечном счете является искусством. В психотерапии всегда присутствует элемент иррациональности. Художественная интуиция и сенситивность врача имеют немалое значение. Пациент также вносит иррациональный элемент — свою индивидуальность. Беард, создатель концепции неврастении, однажды заметил: если доктор лечит два случая неврастении одинаковым способом, он, несомненно, будет одного из больных лечить неправильно. Это вызывает вопрос, может ли быть «правильная» психотерапия вообще. Не будет ли правильнее считать, что «правильная» психотерапия практикуется данным психотерапевтом в отношении конкретного пациента? В любом случае психотерапия напоминает уравнение с двумя неизвестными — соответственно двум иррациональным факторам.

Психоанализ долго считался специфической и каузальной терапией. Но «комплексы» и «травмы», которые он рассматривает в качестве патогенетических факторов, вероятно, универсальны и, следовательно, не могут быть патогенетическими. Тем не менее психоанализ помог немалому числу пациентов, и поэтому должен считаться неспецифической терапией.

Утверждать, что расстройство имеет «психогенный» характер, не значит, что в данном случае необходима психотерапия. И наоборот, психотерапия может быть показана даже тогда, когда она не является каузальной терапией. Иначе говоря, она может быть терапией, которая решает проблему, даже не будучи специфической терапией. Случай логотерапии аналогичен. Логотерапия может быть абсолютно уместной, даже не будучи ни каузальной, ни специфической. При определенных обстоятельствах бывает разумным начинать с верхнего уровня пирамидальной структуры, с которой мы сравнивали человека, для того чтобы обеспечить человека духовным стержнем, даже если генезис его частного расстройства лежит в нижних уровнях — психическом или телесном.

Но в конечном счете медицинское служение не занимается в первую очередь лечением невроза. Медицинское служение принадлежит сфере деятельности любого врача. Хирург вынужден прибегать к нему так же, как невролог и психиатр. Различие обусловлено лишь разными целями и глубиной проникновения. Когда хирург производит ампутацию и снимает перчатки, он имеет вид человека, исполнившего свой врачебный долг. Но, если пациент потом совершает самоубийство, потому что он не может смириться с тем, что стал инвалидом, какая польза от такой хирургической терапии? Разве не является частью работы врача как-то воздействовать на отношение пациента к страданию, связанному с операцией и результатом ее — инвалидностью? Разве не является правом врача и его долгом воздействовать на установку пациента к его болезни, установку, которая составляет философию жизни, хотя и не формулируемую, может быть, в пространственных словесных определениях? Где заканчивается действительная хирургия, там начинается медицинское служение. Ибо нечто должно последовать после того, как хирург отложил

в сторону своей скальпель или оказалось, что хирургическое лечение исключается, как, например, в неоперабельных случаях.*

Недостаточно просто похлопать пациента по плечу или сказать несколько легких, конвенциональных подбадривающих слов. Что действительно значимо — это правильное слово, сказанное в правильный момент времени. Это правильное слово не должно быть пустым словесным упражнением и не должно «дегенерировать» в пространственные философские дебаты, оно должно обращаться прямо к сердцевине проблемы пациента.

Выдающемуся адвокату должны были ампутировать ногу по причине артериосклеротической гангрены. Когда он в первый раз встал с кровати, чтобы попытаться идти на одной ноге, у него из глаз брызнули слезы. Тогда доктор обратился к нему с вопросом, надеялся ли он пробежать милью за четыре минуты, потому что только в том случае, если бы это было его целью, у него было бы какое-то основание для отчаяния. Этот вопрос моментально вызвал улыбку вместо слез. Пациент быстро осознал очевидный факт, что смысл жизни состоит не в беззаботных прогулках, и что человеческая жизнь не столь бедна содержанием, чтобы потеря ноги сделала ее бессмысленной. (Сравнения, полезные для прояснения философских позиций наших пациентов, удобно брать из области спорта по уже упоминавшимся нами причинам: пациенты могут научиться тому, что трудности лишь делают жизнь более осмысленной, но никогда — бессмысленной. Типичный атлет ищет и создает трудности для себя.)

Вечером накануне операции по ампутации ноги по причине туберкулеза кости другая пациентка написала подруге письмо, в котором намекала на мысли о самоубийстве. Письмо было перехвачено и попало в руки доктора, который, не теряя времени, нашел предлог для разговора с этой женщиной. В немногих подходящих словах он объяснил пациентке, что человеческая жизнь была бы слишком бедна, если бы потеря ноги действительно лишала ее всякого смысла. Такая потеря могла бы разве что сделать бессмысленной жизнь муравья, так как он был бы неспособен больше реализовать цель, определенную муравьиным обществом, а именно бегать вокруг на всех своих шести лапках, чтобы быть полезным. У человека дело обстоит по-иному. Беседа молодого доктора с женщиной, протекавшая в стиле сократического диалога, имела свой положительный результат. Его старший коллега, который выполнил операцию ампутирования на следующий день, не знает и поныне, что, несмотря на успешную операцию, его пациентка была на грани того, чтобы оказаться на его столе для вскрытия трупов.

Медицинское служение показано во всех тех случаях, когда в жизни пациента существуют «судьбой» обусловленные состояния, когда он становится калекой или сталкивается с неизлечимой болезнью или инвалидностью. Оно также полезно там, где человек попадает в безвыходное тяжелое положение, сталкивается с непреодолимыми трудностями. Медицинское служение помогает пациенту трансформировать его страдание во внутреннее достижение и тем самым реализовать установки ценности.

Область, в которую мы вступили с нашей логотерапией, и прежде всего с экзистенциальным анализом, является пограничной между медициной и философией. Медицинское служение действует вдоль большой разделительной линии — между медициной и религией. Каждый, кто идет вдоль границы между двумя странами, должен помнить, что он находится под наблюдением с двух сторон. Медицинское служение должно, следовательно, ожидать бдительных взглядов; оно должно принимать их в расчет.

Медицинское служение располагается между двумя реальностями. Оно, следовательно, принадлежит к пограничной зоне и как таковое не является страной людей. И однако — что за обетованная земля!

* Экзистенциальный анализ предпринял еретический и революционный шаг, сделав своей целью не только способность человека к достижению им радости, но помимо этого его способность к страданию как возможной и необходимой задаче. Тем самым он стал инструментом, необходимым для каждого врача — не только для невролога или психиатра. Для интерниста, хирурга, ортопеда и дерматолога он даже более необходим, чем для невролога или психиатра. Потому что интернист часто имеет дело с хронически больными и инвалидами, хирург — с неоперабельными больными, ортопед — с пожизненными калеками и дерматолог — с обезображивающими заболеваниями. Таким образом, эти специалисты имеют дело с людьми, страдающими от судьбы, которую они не могут изменить, но могут победить ее, противопоставив себя ей.